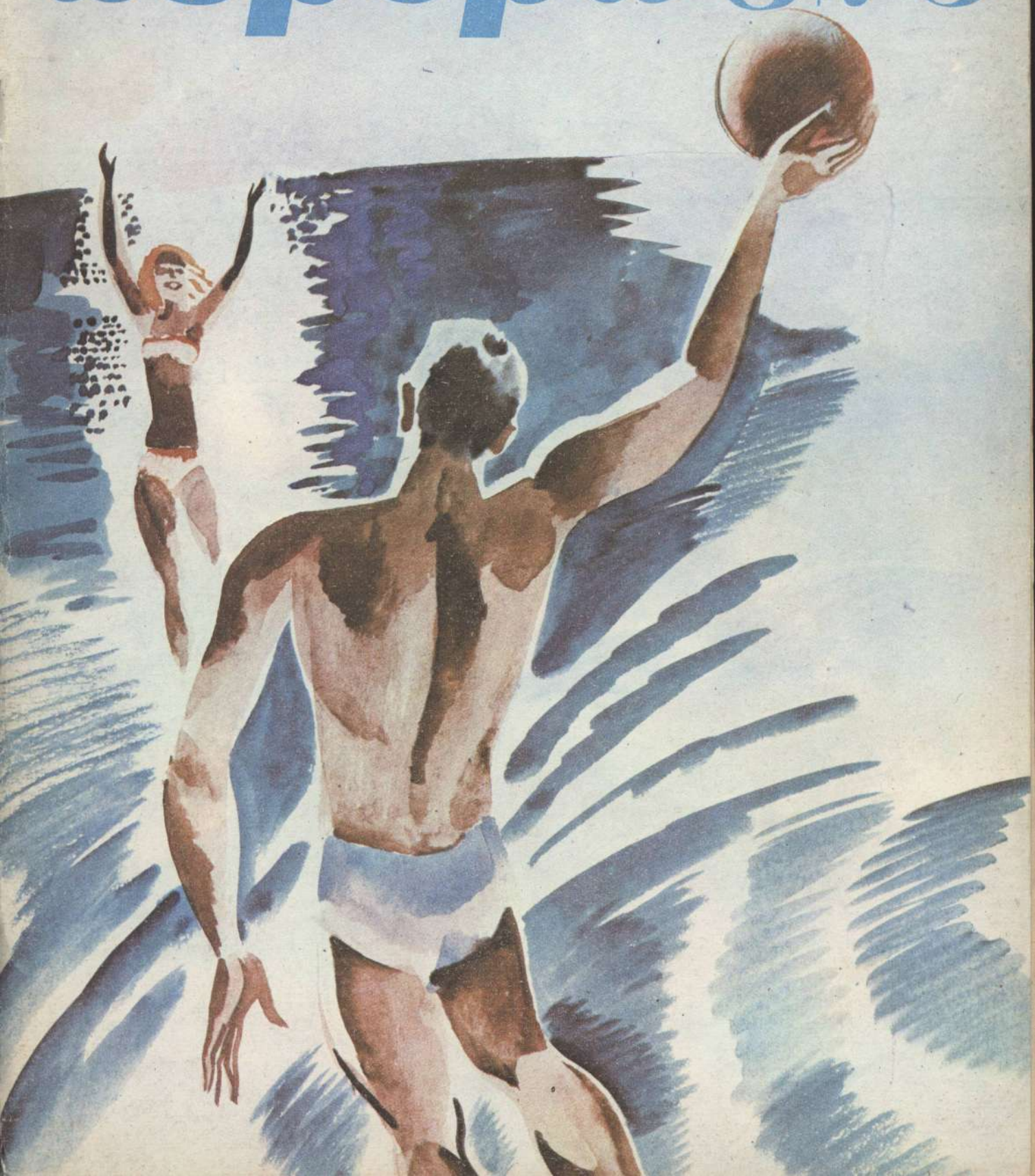
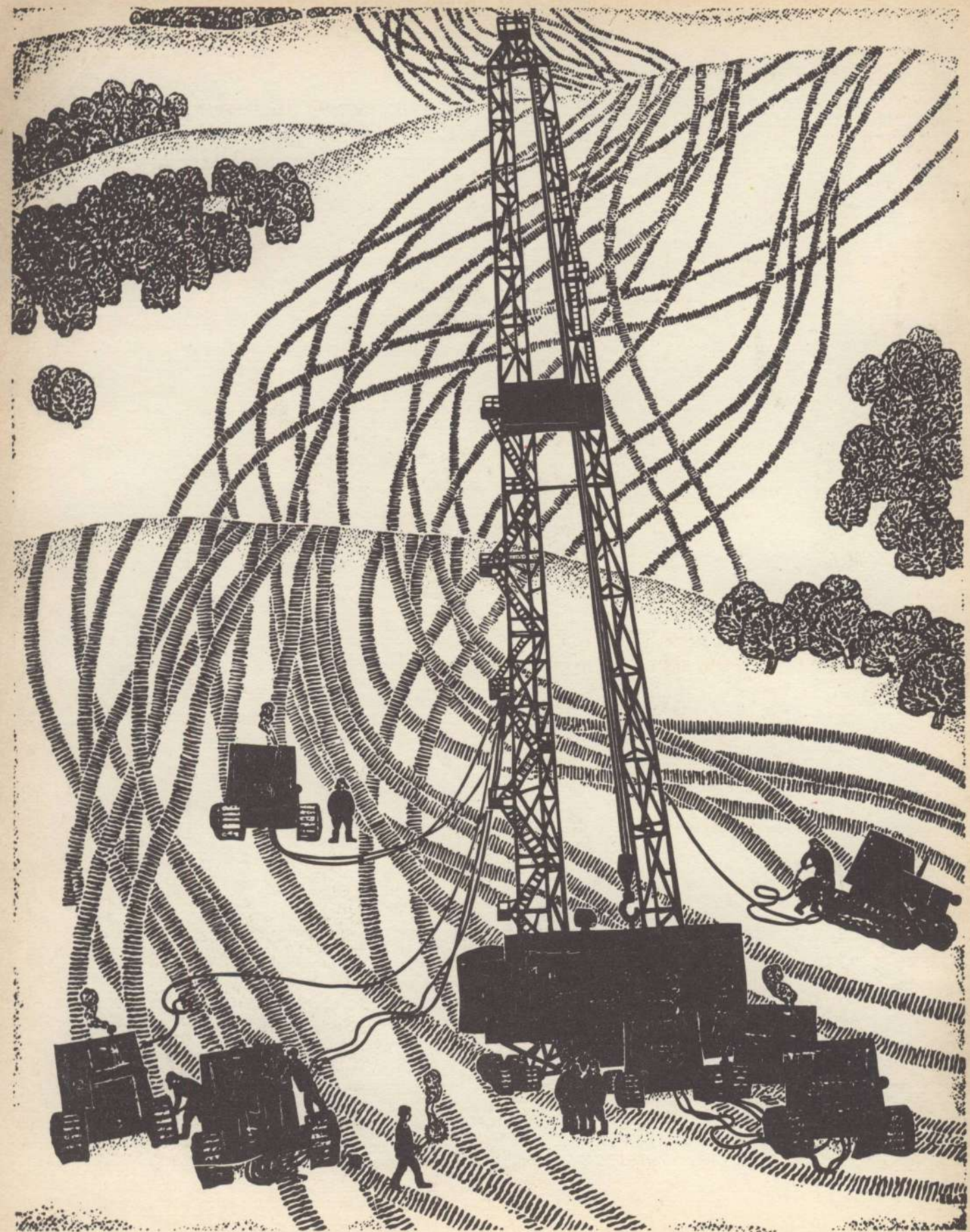


αβρορα 8/75





Владимир Емельянов. На новые места. Из серии «Нефть».

ПРОЗА

Станислав Панкратов	8	Чувство правого колеса Повесть. Окончание
Алексей Леонов	18	Клавина любовь. Повесть
Анатолий Приставкин	34	Северная история. Повесть
Вс. Рождественский	52	Актёрское лето

ПОЭЗИЯ

Анатолий Белов	6	Из варяг в греки. Ровеснику. Селигеру. Вдохновение
Вадим Шефнер	16	Привязанность
Валентин Голубев	31	Жребий. «Герои не успели постареть...» «Когда проща- ются мужчины...» Сен- тябрь. «Скоропостижно роцца умерла...» «Еще не поздно все уладить...» «Сходят люди с ума...»
Светлана Молева	33	Песня детства. «Царствуй, ра- достное лето...» «А ты с тех пор счастливым не был...» Цветы на вечерней Садовой. Дон-Кихот
Григорий Калюжный	50	«Алма-Ата, Ташкент, Суку- ми...» Альбом. «Яснеющие сосны в синеве...»
Айдын Ханмагомедов	57	Рязанские Березники. Весе- лый романс
Из шотландских народ- ных баллад	58	Элисон Грос. Том Рифмо- плет. Стихи в переводе Игна- тия Ивановского
Джордж Гордон Байрон	59	Мазепа. Элегия Ньюстедскому аббатству. Стихи в пере- воде Галины Усовой

ПУБЛИЦИСТИКА

Герман Валюев	2	На Улькане
Лев Сидоровский	44	Пепел и розы
Евгений Куницын	47	Капитаны
Лев Вайсенберг	60	Август Бебель

КРИТИКА

Дмитрий Хренков	65	Дорогие спутники мои. Окончание
Евгений Кутузов	68	Контурсы
Олег Любин	72	Нравственный выбор
Александр Крестинский	74	Понимать начинаю тепло...

ИСКУССТВО

Борис Кац	62	Живая мысль музыки
Светлана Балашова	80	Чистяковские пенаты

«СЛОН»

Юмористический журнал в журнале	75	Выпуск шестьдесят третий
---------------------------------	----	--------------------------

© «Аврора» 1975 г.

На титуле — фотография Леонида Богданова

Рукописи не возвращаются. Адрес редакции: 192187 Ленинград, Литейный пр., 9. Телефон 73-33-90. М-26283. Сдано в набор 25/IV 1975 г. Подписано в печать 3/VI 1975 г. Формат 84×108¹/₁₆. Печ. л. 5 (усл. л. 8,4). Уч.-изд. л. 12. Тираж 130 000. Заказ 188. Цена 30 коп. Типография имени Володарского Лениздата, 191023 Ленинград, наб. р. Фонтанки, 57

Ордена Трудового Красного Знамени
Лениздат

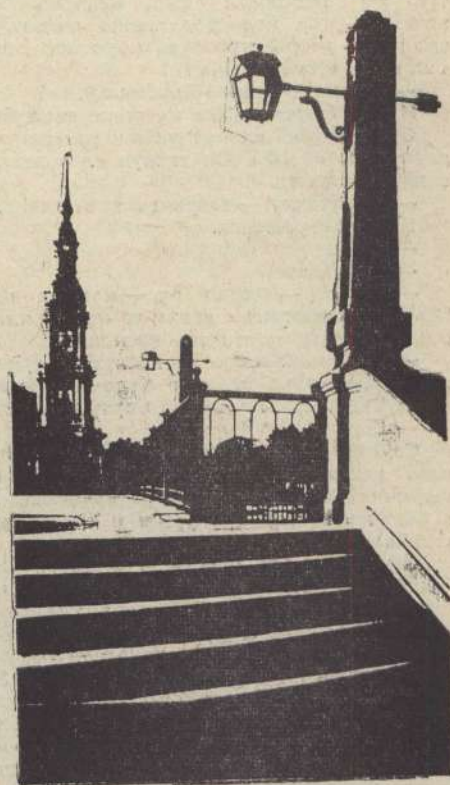
аврора

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ
ЦК ВЛКСМ,
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ПИСАТЕЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1969 ГОДА

АВГУСТ 1975

8



● ...И ТРУД — ВСЕМУ
ЕДИНСТВЕННАЯ МЕРА

НА УЛЬКАНЕ

Герман Балув

Два дня побегав по Усть-Куту, откуда начинается свой рельс БАМ, я собрал солидные рекомендации и записки с просьбой отправить меня на Улькан, где недавно высадили десант Анатолия Фролова. Впоследствии, пробираясь по трассе БАМа, я частенько восклицал: «Ба, знакомые все лица!», ибо многих я уже знал по Братску, Тюмени, Абакану. Эта удивительная когорта людей появлялась там, где претворялись в жизнь фантастически трудные и столь же смелые проекты. Эти люди быстро обростали десантами, экспедициями, отрядами. Они магнитом тянули к себе молодежь. Одним из этой когорты был Анатолий Фролов, бывший первый секретарь Усть-Илимского райкома комсомола. Я был на Усть-Илиме, когда обрушился короткий страшный ураган, свалил на монтажной площадке кран, поднял и унес автобусную будку. Я помню, как бежал Фролов — без шапки, с развевающимися волосами... Он вообще всегда выглядел несколько растерзанным, запыхавшимся, возбужденным.

Каков-то он на Улькане!

Итак, с кучей записок я прибыл в аэропорт, в зеленый вагончик, и Юрий Вербицкий, комсорг ЦК ВЛКСМ, тут же пообещал мне написать окончательную записку — уже непосредственно пилоту, но не успел, так как в дверь вторглось морозное облако, его пробил крик: «На Улькан!»

— Бегите! — сказал Вербицкий.

И я побежал, забыв на столе свое богатство.

Озабоченный летчик шел к раскрытой двери заинтересованного «АН-2». Он глянул на меня мельком и не заинтересовался.

— Минуточку! — закричал я отчаянно.

Пилот повременил.

— Куда!

— На Улькан.

— Нельзя, — сказал он, — машина перегружена.

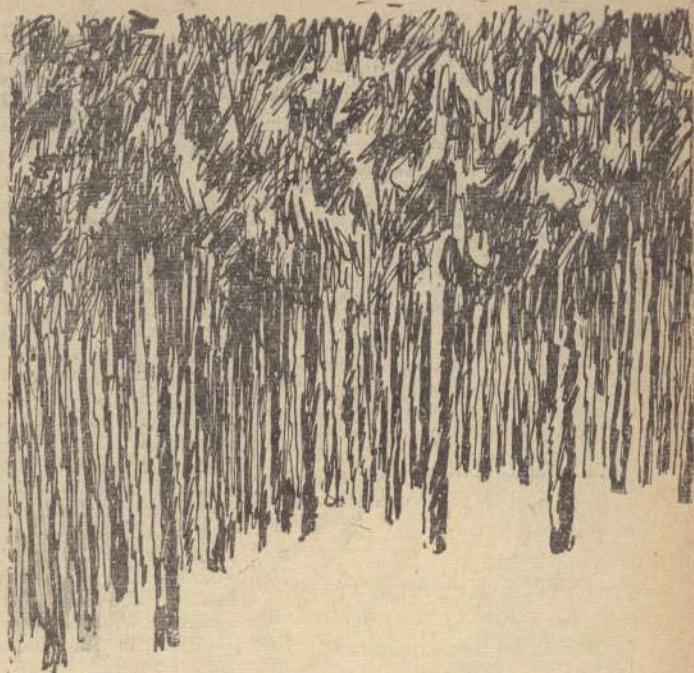
И вдруг посмотрел с каким-то новым интересом. В его озабоченности появилась проталина.

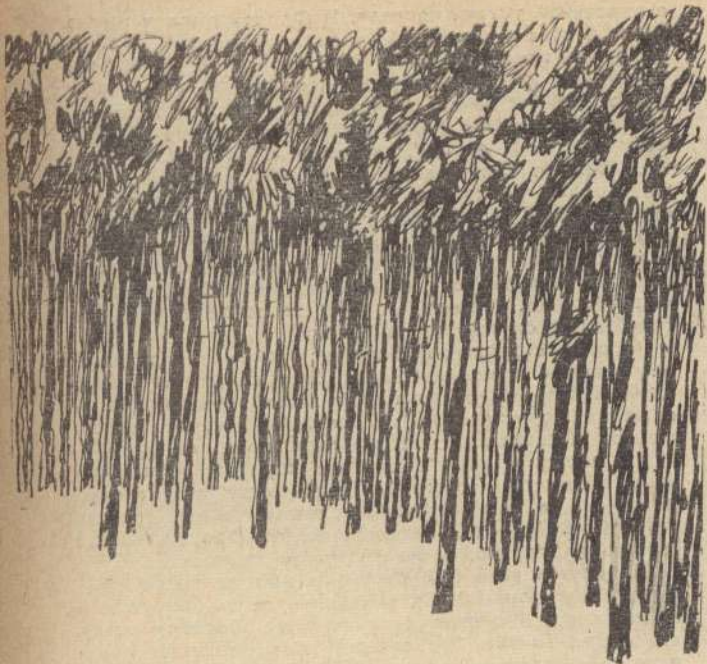
— Здоровый парень, — вслух подумал он и сказал: — Бензин на Улькане будем сгружать. Договорились! Садитесь. И чтоб на борту не курить!

— Есть!

Самолет был загружен мокрыми бочками. Одурающее пахло бензином. Из брезентов и кожухов я устроил себе гнездо, и мы взлетели. И тут только я обнаружил, как прекрасен и крепок день, как бьет столбами в иллюминаторы солнце.

Мы летели над пестрыми сопками, над белой рывиной Лены. Под нами проворачивался наиболее дремучий бок планеты — Восточная Сибирь, открытая на сто лет позднее Америки. Ходили слухи, что далеко на Востоке течет великая река под названием Елюенэ, впоследствии переименованной казаками в Лену, но только в двадцатых годах XVII века «гуляющий человек» из Мангазеи Пантелей Пянда решил попытаться шального счастья и пошел с ватагой по Нижней Тунгуске... Вслед за Пяндой открывал Лену молодой десятник Васька Бугор. Он достиг на стругах реки Куты, а Кута сама





понесла его в Лену. Казаки были ошеломлены богатством открывшегося края: земля на солонцах была вытоптана зверем, как на дворе, косяки птиц затмевали солнце, струи застревали в юро (массовое скопление рыбы), соболя золотистыми молниями прошивали кедры, соляные ключи сушили богатство... Кута впадала в Лену, и в этом месте Василий Бугор поставил первый лабаз, и первый шалаш с таганом, и плотбище, чтобы строить суда, — и начал так Усть-Кут, ныне опорную базу БАМа.

...Показалась Киренга с черными, парящими на морозе промоинами. Сопки роняли на лед синие тени. Пространство над сопками серебрилось. Из серебряной пыли то справа, то слева проступали горы. Потом открылось чистое место вроде выгона, длинная жердевая изгородь. Самолет сел возле этих жердей, мы скинули бочки, и он улетел.

В километре виднелась деревня — порядок задавленных снегом домов. Мороз был гжучим. Рукавицы вымокли в бензине, и руки ломило от холода. Но я уже понял, что даже с такими руками на БАМе не пропадешь. Они здесь ценятся выше самых лестных рекомендаций.

Анатолий Фролов, как я узнал позднее, был очень напуган, когда высадился на Улькане у этой длинной жердевой изгороди и увидел безвольно опущенные руки. Он внимательно посмотрел на свой посиневший, скрученный холодом десант, и у него у самого холодно стало под сердцем.

— Ну как, ребяташки!! — бодренько прокричал он, чувствуя, что в голосе нет уверенности. — Теперь осталось самое легкое: разобрать топоры и построить дом.

Они без улыбки посмотрели на своего командира — бывшие технологи, швед-мотористки, кондитеры и учительница начальной школы. Топоры валялись перед ними, припорошенные снегом, взвившимся от винтов ушедшего вертолета. Только Саша Голуб, бывший контролер ОТК, взял один, повертел и бросил в общую кучу.

Эту горстку молодых людей окружали каленые сверкающие пространства. Тайга кольцом отступала десант. Далекие границы стерегли горы. Восковыми громадами вздымались они — смутно и розово.

Фролов повел свою гвардию в клуб, где посередине зрительного зала стояла печь, сделанная из огромной железной бочки. Ребята опустили на трескучие стулья, а Фролов принялся растапливать печку. В зал просунулся местный парень, подмигнув веселенько: «Сделать удовольствие!» — и, не получив ответа, скрылся. Через десяток минут свет в зале погас, и началась демонстрация фильма «Юнга с Северного флота». Приключения мальчигов на экране, багровые отблески печи, запах разогретой тушонки — все это вывело десант из оцепенения. А тут еще председатель сельсовета прибыл с возом сена на подстилку.

— Эх, душистое, ароматное! — кричал он. — Сам был ел, да деньги надо.

И Саша Голуб сказал слова, которые потом по всякому поводу повторяли в десанте:

— Если не мы, то кто же! И если не сегодня, то когда!

Наутро они были бодры и предприимчивы. Бывшая учительница начальной школы Люда Ермакова сварила два ведра какао. И они принялись надстраивать амбар, превращая его в двухэтажный дом. На полы и потолки пошли деревенские заборы. Выходящих из тайги охотников несколько обескураживало отсутствие заборов.

...Я зашел в бывший амбар, где у подножья тесно составленных двухъярусных коек трещали арифмометры, писались наряды и распивались чай, и на втором этаже, в помещении, треть которого занимала корявая, необмазанная печь, нашел Фролова. Серпообразные складки углубились на его лице — он был, как



обычно, взвинчен, казалось, что внутри его жжет постоянный огонь, толкая на немедленные решительные действия.

Только я вынул блокнот, как какой-то косолапый парень с медвежьими глазками на большом плоском лице влез в двери. Был он в легком полушубке, лисьей шапке, в руках — ружье.

— Пришел работать, — хмуро и медленно проронил он. — Из Кутимы.

— Это же в пятидесяти километрах. Как сюда попал! — Фролов впился в парня своим неистовым светлым взглядом.

— На лыжах.

— По тайге! Ого! Ну... герой! Что умеешь!

— Плотничать малость, — сказал парень медлительно.

— Малость! — передразнил Фролов. — Комсомолец! — Не...

Фролов вскипел. Он быстро переходил из одного состояния в другое.

— Явился — не запылится! Ты что же думал, я тебе на шею сразу брошусь! Ты знаешь, что пришел в комсомольский десант! Ты знаешь, что у нас все до одного комсомольцы! Ты знаешь, как этих ребят отбирали! Не знаешь ты ничего! Их всех привезли в Братск, и они четыре месяца работали на заводе, и мы смотрели — кто чего стоит...

— А я чего стою! — угрюмо и спокойно спросил парень. — Это вам известно!

— Многого стоишь... Возможно... Допускаю... — Фролов, пригнув голову, чтобы не задеть низкий потолок, нервно заходил возле печки. — Но все же... Пришел на готовенькое... Такой медведь, а все еще не комсомолец... Эх ты! — уже весело закончил он.

— Значит, нет, — сделал вывод парень и нахлобучил свою роскошную шапку. — Пойду, пожалуй.

— Постой, постой, постой! — Фролов даже передернулся. — Ты вот что... Иди в столовую, покушай — скажи, Фролов велел... Так! А недели через две я готов с тобой побеседовать. Ты пойми, друг, — сказал он с искренним страданием в голосе, — нет дороги — нет материалов... Мост через Киренгу переберем — будет работа, горячая работа... Звать-то как!

— Вася.

— Ты понял меня, Василий!

Парень постоял в угрюмой задумчивости.

— Выходит, мост держит!.. Ладно. Ясно. Пошел.

Фролов повел меня на стройку, кривясь, как от зубной боли.

— Ай, нехорошо! Ай-яй-яй! В этом трагедия моей жизни: никого не могу обидеть. Сам страдаю больше обиженного.

По хрусткой дороге мы углубились в насупленную тайгу с белыми стволами берез, взлетающими к небу, как детские крики. Это место называлось Дарьина гарь. А сама Дарья, как оказалось, была жива и уважаема и имела несколько внуков. Мы перешли звенящую по камням хрустальную речку Улькан, и перед нами открылась расчищенная территория, на которой строился деревянный поселок Улькан. Точнее, должен был строиться...

Два шпалерами бездымно и жарко горели костры, как бы обозначая посадочную полосу. В оттаянные места вгрызался бур, засыпая угли красной глиной. Уже сотни сливочных срезов толстых чурбанов высывались из грунта. На них должны были опереться столовые и общежития, коттеджи и конторки. Но на эти пеньки пока нечему было опереться. Как издевка, стоял один-единственный оконный блок, и за его перекрестьем была видна все та же тайга...

Через полгода десант должен был превратиться в строительно-монтажный поезд. А это армия — две

с половиной тысячи человек. И Фролов днем и ночью носил в себе мучительное представление, как уже катится по России, обрастая людьми, его поезд. Месяца через два до Улькана докатятся первые сотни. Они спешат, чтобы начать капитальный Улькан — железнодорожную станцию БАМа на 210-м километре от Усть-Кута и на 74-м от туннеля, который пронзит Байкальский хребет. Они спешат, и какой будет ужас, если он, Фролов, не сможет их принять! Но пока у него нет ни досок, ни дверных и оконных блоков, ни щитов для сборных домов, ни техники. И не будет, пока нет дороги. Пока нет моста через Киренгу. Просека зимника со дня на день выйдет на магистраль. Значит, остается мост. Строить его послано звено Александра Голуба. Как он там, справится ли!

Фролов с тревогой вспомнил, что Голуб оказался ему рыхлым и медлительным. Этот парень из Львовской области имел свойство в любой компании оставаться невидимкой. Он мог сесть и замереть совершенно, посверкивая глазами-льдинками. А потом — молча встать и уйти. Таким вот образом он встал и ушел с комсомольского собрания после резких слов, сказанных в его адрес Фроловым. «Мало просто строить БАМ, — зло сказал тогда Фролов. — Надо строить порядочно. А вы всю тайгу захламили».

На другой день был первый в десанте выходной — День Конституции СССР. И Фролов решил уйти в тайгу, подумать в тишине и одиночестве. Перейдя речку, он увидел Голуба. Тот очищал тайгу, стаскивая сучки и ветки в огромный костер. И Фролов ощутил острый стыд. За ним пошли ребята, на которых не нужно было кричать, — им достаточно было спокойного слова.

— Ты чего же!.. Законы не для тебя!.. — пошутил он без обычной твердости в голосе.

Голуб поднял свое румяное лицо и глаза-льдинки.

— Я таким образом отдыхаю.

На рогулке у него парил чайник. Они попили с Голубом чаю, и весь этот праздничный день Фролов таскал со звеньевым ветки. Он не выносил ощущения вины и всегда старался немедленно ее искупить.

...Осмотрев территорию будущего поселка, мы с удрученным Фроловым пошли обратно. В чащобе ворочался, плюясь сизым перегаром, трелевочный трактор. До трактора десант имел лошадей. Ее привел председатель сельсовета. «Друзья, посланцы комсомола, — сказал он, — колхоз презентует вам это животное. Звать его Маруся. Маруся любит поесть, а также — режим».

Парни, впрягшись вместе с Марусей, вытаскивали на просеку стволы. Они работали часов по двенадцать, Маруся — по восемь. Ее кормили овсом и даже макаронами. Однако через неделю Маруся сдохла. Работа стала. Фролов решил на свой страх и риск перебраться через Киренгу трелевочный трактор.

Для полной гарантии надо было ждать, когда толщина льда достигнет шестидесяти сантиметров. Но время, время, время! Погнали по тридцатисемисантиметровому льду. Николай Чудов, держась за раскрытую дверь трактора, напружинившись для прыжка, завис снаружи. Рядом с трелевщиком бежал бледный Фролов. Лед трескался с длинным убегающим гулом. Когда трелевщик благополучно пересек Киренгу и ткнул носом в крутизну противоположного берега, стали закуривать. Но прикурить не удавалось. Только у тракториста Коли Чудова руки были спокойны, он всем прижег по сигаретке.

Трелевщик весил всего шесть с половиной тонн. Чтобы гнать тяжелую технику, нужен был прочный мост.

— Ребята, — сказал Фролов, — на строительство такого моста требуется около сорока пяти дней. У нас их нет. Все, что я могу вам дать, это месяц. Ладно!

Голуб посмотрел на него бесконечно спокойными глазами-льдинками.

— Мы попробуем.

Четверо парней начали строить мост. Бензопилами они вырезали лунки во льду, вчетвером, пересиливая течение, опускали в воду бревно, пока оно не достигало дна. Река подо льдом несла витыми струями. Стоило закончить пропили, как Киренга в то же мгновение вышибала ледовую пробку, била в отверстие фонтаном брызг. Брызги намерзали на полушубки. К ночи ребята обрастали ледовыми панцирями.

Всего надо было установить сто шестьдесят четыре столба. Идея была такая: бревна будут работать как мостик холода, а между ними наморозится арка. Кроме того, предполагалось сверху, между снежными бортиками, залить еще сантиметров тридцать.

За первый день работы заморозили шесть свай, за второй — девять. Решено было не отвлекаться на обед. Люда Ермакова не могла вынести, что ребята голодные. Где-то к часу дня черным силуэтом возникла Люда на яру. За плечами у нее был рюкзак с тушонкой и хлебом, в руках — ведро с какао. Саша Голуб лез ей на помощь.

Усевшись на бревнах, они ели тушонку, пили теплое какао и воспринимали мир во всем его великолепии. Над ними поднимался заснеженный осмылю Красный яр. Река здесь прижималась к правому берегу, и ниже по течению длинной кляксой чернела полынья, глянцевая от горбившейся стремительной воды. Над полыньей стояло насыщенное солнцем облако пара. Снег сверкал игольчато под льдыстым бирюзовым небом.

— Знаете, мальчики, что вы умеете делать красиво! — любуясь ими, спрашивала Люда. — Кушать. — И заливалась смехом, покачиваясь в своей ямщицкой шубе, как язычок в колоколе.

На четвертые сутки Голуб пришел к выводу, что световой день слишком короток. Он предложил попытаться счастья при луне. При ее призрачном свете они погрузили еще три сваи. Четвертую неожиданно вырвало течением, и свая ударила Деда в живот. Он отлетел и лежал на льду так долго, что Саша Голуб напугался.

— Дед! — заорал он. — Помер, что ли!

— Отдыхаю, — сказал Дед, поднимаясь и отряхиваясь. — И обдумываю одну рационализацию.

— Шабаш! — скомандовал Голуб.

И, поднявшись на яр, по набитой тропе они двинулись на огонек Марии Мефодиевны, который разгорался все ярче, маня, обещая усладу. Гремя обледенелыми полушубками, пошатываясь и оступаясь, они шли с бензопилами на плечах по взвизгивающему снегу под черным небом, на котором мерцали яркие кристаллические звезды. Один Дед был бодр. Рационализаторская идея влила в него свежие силы. Он уже несколько дней размышлял над тем, как же они будут заливать мост, — насоса-то нет! И придумал сделать лоток. Этот лоток сунуть в лунку против течения — и вода сама выльется по нему на лед. Саша Малина был самый молодой в этой компании, ему шел двадцать первый год, и когда он осознал свою талантливость, его даже бросило в жар. Дедом же его звали за тщетные попытки отрастить бороду.

Добравшись до дома, они побросали гремящие полушубки на печку, попадали на сенную постель и замерли блаженно. Только неутомимый Дед, выпросив у Марии Мефодиевны старое корыто, пошел строить из него лоток. Он вернулся, неся за уши тяжелого зайца. Дед прямо в огороде ставил петли.

— Хорошо здесь, на БАМе, а! Работа, природа и ты... Никакой сутолоки, суеты, — сказал вдохновенно Коля,

— Для себя суетятся, — жестко проговорил Голуб.

— Злой ты чего-то, Саша! — Люда села на лавку и пригорюнилась.

— Не обращай внимания. Это я на себя злой. Тоже суетился-суетился и досуетился — стал по пальцам считать: это есть, это имеется, это в лучшем виде... Полный набор. А жить чего-то не хочется...

— Ой как интересно! — прошептала Люда. — Раскажи... Ну, Саша...

Голуб усмехнулся в потолок своей жестковатой улыбкой.

— Чего тут рассказывать.. Все мои родичи с высшим образованием, с положением, старшие экономисты всякие, подначивали меня: «Эх ты, контролер ОТК!» Я ухмыляюсь себе. «Посмотрим, — говорю, — кто лучше устроится». Так, конечно, лепил, с потолка. А тут вдруг удача дуrom поперла. Выигрываю по лотерее ДОСААФ «Волгу». Номер 177798. Строю кирпичный дом.

— На зарплату контролера!

— Зачем на зарплату!! Утречком сажусь в «Волгу», до Трускавца и обратно — и рублики в кармане. Ну, построил... Первая ночь в собственном доме. Лежу — не заснуть. Тишина, словно умер. А что! К двадцати четвертым годам всего достиг, чего хотел. Дальше-то что! Умирать надо.

— Однако не умер, — сказал Дед. — А подался в лесорубы.

— В лесорубы или не в лесорубы, не в этом дело. У меня, наверное, страшное самолюбие. Не могу быть в хвосте, даже вторым не могу быть. Я умру, а построю БАМ.

Дед рассмеялся:

— Не умрешь. Не позволим.

Голуб не обратил на него внимания.

— Один раз ошибся. А сейчас, чувствую, попал в точку. Я словно на гребне... Аж дух захватывает. Ты читал историю Сибири! — спросил он Деда.

— Когда! — обиделся тот.

— Почитай. Вслед за первооткрывателем Пяндой и Васьюкой Бугром на Восточную Сибирь набросились шайки грабителей. Соболя, золото, женьшень... Рвали все, что могли. А мы! Ты думаешь, мы делаем железную дорогу! Мы осваиваем целый континент. На нашем пути залежи железных руд, магнетитовых кварцев, меди, никеля, молибдена, вольфрама, ртути, нефти, асбеста... Ломоносов говорил, что могущество России прирастет Сибирью. Ты понимаешь, Дед, чем мы занимаемся!

— Не дурак, — сказал Дед.

— Ой, мальчишки! — спохватилась Люда. — Все же стынет! Ну-ка поднимайтесь! И кричите ура: Людочка научилась делать олады.

В этот вечер они приняли еще одно решение. Рабочий день не только заканчивать при луне, но и начинать при костре. Выходило: через пять дней мост будет сделан. Они засыпали счастливые, представляя, как будет ошеломлен Фролов, когда они после десятидневного отсутствия вернутся и скажут небрежно: «Мост готов».

На следующий день они испытали изобретение Деда. Дед оказался гением: вода с хлопьями влетала на лоток. Дед напыжился, стал рассуждать об институте, его осаждали: не до разговоров было. В этот день они решили поставить рекорд, погрузив восемнадцать свай. Они погрузили одиннадцать, уже дело катилось к вечеру, когда на лед Киренги вышел охотник.

Это они приняли за охотника того самого Васю, парня в лисьей шапке, что в день моего приезда пришел к Фролову. Он скинул лыжи и сел на бревнышке, наблюдая за работой. Потом сказал:

— Рушить придется, мужики. Плохо вы делаете.
Все оставили работу.
— Чего, чего!.. — протянул Дед.
— То, что осину взяли, — это хорошо, — терпеливо объяснил парень. — Она пористая. А вот в дно упирать бревна не надо. Скоро спад воды будет, и мостик ваш выломится в небо.
— Значит, все было зря! — спросил сам себя Дед. Им было тошно смотреть друг на друга.
— Пойдем, Роман, сыграем в шахматы, — без выражения сказал Дед и, не оглядываясь, стал подниматься на яр.

Коля, пристроившись к лунке, быстро выдернул двух тайменей и тоже ушел домой. Только Голуб остался.

— Хоть стреляйся... — сказал он задумчиво.
— Делов-то! — усмехнулся Вася. — Поднимем бревна на метр, а излишек потом срежем. Давай-ка попробуем!

Минут за пятнадцать они подняли первое бревно, минут за десять второе.
Когда часа через два вернулись ребята, на реке выростал частокол.
— Ну, спасибо! — сказал Дед. — Теперь мы и сами справимся.

— Я побуду, — ответил Вася. — Куда мне спешить! Еще через три дня мы сидели с Фроловым у подножья двухъярусных коек. Было тихо. Амбар словно вымер. У геологов на другом конце деревни обнаружилась свадьба, и десант с энтузиазмом принял в ней участие. На другой конец деревни унесли все сгущенное молоко.

В полночь выключали дизеля. Лампочка стала меркнуть, и Фролов запалил свечку. Только она разгорелась, дверь распахнулась настежь, откинулось дверное одеяло, свечку задудло, а в темноте зашаркали обледевшие валенки. Фролов снова зажег свечу. Задубевшие от мороза, словно только что вышедшие из боя, стояли перед нами ребята Голуба в вольно распахнутых полушубках. Позади всех затаился Вася. Голуб взял его за рукав и вытащил вперед.

— Докладывай!
— Мост готов, — сказал Вася.
Фролов встал и молча обнял его.
— Ну, ребята... Ну, ребята... Чаю хоть, что ли! Грейтесь! Я тут же, мигом... — И он бросился вон, на кухню, прямо как был — раздетый.

Мы попили с ребятами чаю, и они, смеясь, рассказали о своих злоключениях. Потом ушли отсыпаться, а Фролов настроил транзистор на волну «Маяка». В передаче о БАМе упомянули и Ульянов и десант Анатолия Фролова.

— Забрались черт знает куда, а впечатление такое, что находимся в центре событий, — сказал Фролов задумчиво. — Вам не кажется!

— Кажется.
Фролов помолчал.
— Я иногда начинаю обратный отсчет. И боже мой, как жизнь спрессовывается! Остаются пики. У меня: БАМ, Усть-Илим, Братск, дети, жена, еще несколько мгновений, когда достало сил сделать людей счастливыми. Все остальное рушится в тартарары... Страшно-вато, правда! — Он помолчал. — Но все-таки жизнь прекрасна. И прекрасна она еще и потому, что за все тебе воздается.

Мощный рев нарастал снаружи. Стекла амбара задребезжали.

— Техника, — прошептал Фролов. — Прошли через Киренгу... Пошла техника! — крикнул он. — Быстро одеваться!

Поэты — участники

Весной этого года состоялось VI Всесоюзное совещание молодых писателей, организованное ЦК ВЛКСМ и Союзом писателей СССР. На этом совещании шел разговор не только о достоинствах и недостатках в творчестве молодых авторов, но и об их гражданском облике, о приобщении их к активному участию в жизни народа. В этом традиционном форуме нового поколения литераторов нашей страны принимали участие и молодые ленинградские поэты, многие из которых уже печатались

Анатолий Белов

Из варяг в греки

*Из морей — в реки,
из варяг — в греки
на ладьях узких
вдоль земель русских.*

*Дальний путь долог.
Легким будь, волок.
Выйди день светлым —
а не дождь с ветром.*

*Молодой викинг,
грусть за борт выкинь,
порасправь плечи —
надо жить легче.*

*Ударяй гребью
по волне — гребню,
по речной сини —
изо всей силы!*

*Упадут брызги
в камышах близких,
где, грозней тучи,
дремлет царь щучий,*

*где, к беде чутки,
увели утки
всех утят в заводь
обучать плавать...*

*Вот и лоб — потный,
вот и ход — родный
и второй за день
поворот — сзади.*

*Схватишь шест острый —
оттолкнешь остров.
Распахнешь ворота,
обомрешь — город!..*

VI Всесоюзного совещания молодых писателей

на страницах нашего журнала. Мне хочется сказать несколько слов о каждом из них.

Стихи Анатолия Белова всегда конкретны. У него есть свой жизненный материал, переосмысленный и воплощенный в поэтическое слово.

«Лирический мир» Валентина Голубева заметно выделяется живой интонацией, осмыслением времени через призму своего поколения. Печатался Валентин пока мало, а между тем стихи его интересны

и достойны быть вынесенными на суд читателя.

Интересными поэтическими возможностями располагает, по-моему, Григорий Калюжный. Уже первым публикациям поэта была присуща новизна образов и энергичное развитие сюжета в стихе.

Лирическая героиня Светланы Молевой нетороплива, ласкова. Она не совершает открытий, но радуется тому, что открыто до нее, и безмятежно верит в торжество разумного и прекрасного на земле. Мне думается, что у каждого из

названных поэтов есть все, чтобы писать дерзновенно и талантливо: молодость, природное дарование, жизнелюбивые истоки творчества и народная пытливость ума, неразрывная связь с родной землей, ответственное отношение к слову. Это радует и обнадеживает.

В этом номере «Авроры» читатель найдет новые стихотворные подборки Анатолия Белова и Валентина Голубева, Григория Калюжного и Светланы Молевой.

Александр Шевелев

Ровеснику

*Не беда, если выпался плохо —
не для нас протрубили отбой.
Не такая простая эпоха
породилась со мной и с тобой.*

*Мы немного сделать успели,
нам минута — и та дорога.
Мы из тех, кто еще в колыбели
слышал гул самолетов врага.*

*Сокровенные чувства поведай,
все как есть говори напрямик.
Мы из тех, кто отцовской Победой,
как своею, гордиться привык.*

*Мы из тех, кто врывался спросонок
в материнскую тихую грусть,
кто скупые слова похоронок
с малых лет заучил наизусть.*

*Мы из тех, кто за низенькой партией
начинал о высоком мечтать.
Мы из тех, кто к апрельскому старту
не успел научиться летать.*

*Мы из тех, кто в компании вялой
в никуда под гитару не плыл,
кто в солдатском строю — запевалял,
а на стройках монтажником был...*

Селигеру

*Я родился весенним утром
в селигерском краю рыбацьем.
Не поверив старухам мудрым,
я поверил мечтам ребячьим.*

*И, привыкший к просторам синим,
птичьим крикам и рыбьим всплескам,
круглолицым крестьянским сыном
я живу на проспекте Невском.*

*Городам я обязан многим,
городской дорожку пропиской.*

*Городам я кланюсь в ноги
с благодарностью низко-низко.*

*Но истоки всей моей силы
и в неспешное счастье вера,
неотрывные от России,
начинаются с Селигера.*

*Задаю я себе вопросы
и никак не дожждуся ответа —
сколько раз голубые плесы
будут сниться мне до рассвета?*

*В мою память врезались остро
дорогих берегов излучки.
Селигер, я — твой маленький остров —
не бываю с тобой в разлуке.*

*

*Июльское солнце — в зените,
озерная дичь — на плаву.
Наказано детям — не мните
поспевшую к сроку траву.*

*Ложатся тяжелые росы
на тонкие крылья стрекоз.
Наладили с вечера косы —
с рассветом ушли на покос.*

Вдохновение

*Оно приходит ниоткуда
и вновь уходит в никуда
(не от суда — от пересуда),
то состояние, когда
как будто наглухо забито
во двор открытое окно
и головная боль забыта
с душевной болью заодно;
когда весь день — одно мгновенье,
когда минута — как века,
когда само повиновенье —
перо держащая рука.*

Станислав Панкратов

ЧУВСТВО ПРАВОГО КОЛЕСА

ПОЕЗЬЕ

Рисунок Николая Кошелькова

В сорок пятом отец не вернулся. И в сорок шестом не дождались, и в сорок седьмом не пришел. Была бумажка, официальная: пропал без вести. Но ведь пропал — не погиб... Ждали. Мать ждала, и Мокеев ждал. Тогда его просто Колькой звали. Это уж как работать пошел — стал Мокеевым. Все Мокеев и Мокеев, по имени почти никогда, Мокеев сначала удивлялся, потом привык. Это удивительно, как к человеку может собственная фамилия пристать, даже имя заслонила. И ребята в школе, в последнем классе, который Мокеев одолел, — в седьмом, — перешли на «Мокеев». Так и повелось.

А мать ждала... Иногда, бывало, соберется семья, а кроме Кольки было их у матери еще двое — сестренка Нинка и меньшей брательник, Мишка: он перед самой войной родился, в сорок первом, майский. Нинка на два года моложе Мокеева, а потом уж и Мишка.

Случались такие вечера. Соберутся все, картошки поедят с простоквашей, фитиль у лампы прикрутят и сидят, сумерничают. Фитилек в лампе светит, будто издалека-издалека, будто через поле какое или через лес. Мать рассказывает чего или просто молчит, ветер ищет в крыше щелки, вокруг углов навевается, дверь на щеколде вздрагивает, и слабое круговое пятно на потолке — от лампы, будто живое, ширится, узится, пульсирует.

Мать сидит, вздохнет, столешню вдруг погладит рукой или младшего, Мишку, прижмет к себе, подбородок положит ему на макушку и качается тихонько, и не мигает, не мигает — на фитилек глядит, и Мокеев видит, как глаз у матери становится большой, выпуклый, качается, потом вдруг молча прольется на щеку тяжелая слеза, пролетит все лицо и упадет Мишке на волосы. Мишка скажет только: «Мам, мокро», — и мать отодвинется, улыбнется виновато: «Крыша прохудилась, мужички, капает...»

Заходили соседки — счастливые, и вдовы, и у которых, как у Мокеевых, без вести... Помнит Мокеев, как мать говаривала подруге: «Вот не верю, что убитый он, чувствую... не оборвалось между нами... осталось что-то... не могу сказать, но не убитый он, живой». Соседки сочувственно кивали, с болью и надеждой вглядываясь в худое матерно лицо, пытаясь, быть может, найти в этом лице что-то и свое, чего не успели разглядеть вечерами в мутных военных зеркалах. У них в доме тоже было такое — военное, мутное. Ждали оккупации, закопали добро в землю, и зеркало закопали. Потом уехали, потом вернулись, выкопали добро, и зеркало оказалось мутным — вглядываешь оттуда, будто из тумана.

В оккупации они не остались, успели выбраться. Бедовали, голодом сидели, вшей били, добрались в Зауралье, устроились кое-как — мать работала, вечерами шила, вязала, игрушки мастерил — пропеллеры из бумажных обрезков на палочке с гвоздиком, куклы тряпичные с химическими глазами. Под конец войны сытнее стали жить — паек дали хороший, на большом заводе мать устроилась, и еще на подсобном хозяйстве помогала, и огородец свой выкроили на пустыре. Но как только Информбюро сказало про освобождение их района на Псковщине — засобиралась мать в путь. Уж и отговаривали ее на заводе — подожди, мол, куда спешить, выгорело там все, да с ребятшками, да жить негде — нет, не дала мать себя уговорить, срядились, двинулись. Вернулись — и правда, выгорело. Ни жить негде, ни кушать нечего, ни одеться, ни обуться. Мать говорила: «А куда ж нам еще, как не сюда... и головешки род-



ные... и отец вернется, не застанет никого — что подумает?»

Не знали еще тогда, что не дождутся отца.

А ждали, сколько лет ждали! Мокеев другой раз подумает даже: не тронулась ли мать ожидаючи. Уж и сорок восьмой прошел, и пятьдесят четвертый, а мать все ждала, все не верила. Померла она в шестьдесят первом, и незадолго слышал Мокеев, как говорила мать с соседкой — чай они пили на кухне, все слышно: «Нет, Мария, не убитый он. Вот не убитый — и все тут. Живой где-то, не могу сказать где, а живой. Такое у меня мнение, будто уехал он и скоро обратно. Застрял будто — не знаю, почему».

Мария солидарно вздыхала, шумно отхлебывала из блюдечка, глядела на себя в самоварном боку, отвечала: «Святая ты женщина, Таня, святая, бог должен бы тебя обрадовать — помолилась бы, он услышит». Мать усмехалась: «Атенстка я, Мария, атенстка. И дети у меня такие. И бог твой меня в лицо не знает, не до меня богу». «Как же, Таня, — отвечала соседка Мария, — это ль не чудо, если муж твой живой? Не божественное ли провидение, если так? Столько лет минуло, а ты веришь, чувствуешь его, живого...» «Что об этом говорить, — вздыхала мать, — может, в плену где, вон как у Дарьи Горшковой, из Канады пишет...»

Но отец не в Канаде оказался, а ближе. Хотя тоже не рукой подать: от Ленинграда Мокеев летел самолетом сколько часов, да потом автобусом добирался еще более того, да в райцентре попугку искал полдня и на ней сто восемьдесят километров по степи как по столу.

И случилось-то все месяц назад. Мокееву отпуск вышел. Пока с дровами возился, пока рамы утеплял, то, се — две недели прошли. Напоследок решил в Питер прокатиться, сестренку навестить и Витальке купить кое-что — Валя список составила. Приехал, побегал по магазинам — заскучал. Сестренка Нинка говорит: «Чего маешься, съезди на родину на парочку дней, взглянешь и вернешься, а я тем временем пошарю в городе по Валиному списку». А Мокеев и вправду собирался на Псковщину, только нерешительно как-то собирался — боится, что ли, себя растрожить. Решился, поехал. Могилу мамину поправил, с соседями старыми поговорил, напоследок в поселковую столовку зашел — перекусить на дорожку. Там у окна за столиком дядя Вася сидел, Макушев, отцовский еще приятель. Дядя Вася домой в сорок шестом вернулся, покалеченный, лицо осколками перепачкано, но веселый и — пьющий. Пил много, тем и славен был первые годы, как вернулся. Потом поутих маленько, и теперь вот сидит у окна, интересуется прохожими и пиво тянет. Помахал Мокееву дядя Вася Макушев, Мокеев подсел к нему со своим супом и биточками. «Что, дядь Вася, на пиво перешел окончательно или так, для перемены только?» — «Да, парень, как сказать... Ощущение я потерял, устал маленько. Пожалуй, выпил я свою цистерну, будет. Вот теперь крепче «жигулей» не беру, а и без «жигулей» не могу, равновесие рушится». Дядя Вася был все такой же. Только морщинки стали резкие, каждая сама по себе, как вельвет. Мокеев сказал ему об этом.

— Да, брат, законсервировался я капитально, чего уж! — добродушно согласился дядя Вася и спросил вдруг: — А батька чего тебе пишет?

— Какой батька? — не понял Мокеев, и что-то неожиданно замерло в нем и заняло.

— Как?.. Твой батька, чей же? — удивился дядя Вася. — Неужели не знаешь! Эхма, рано я пить завя-

зал, мы бы с тобой теперь ха-арошую канистру выжрали по такому поводу.

— Чего-то ты темнишь, дядь Вася, — сказал Мокеев и увидел вдруг тот далекий свет прикрученного фитиля в темной избе, и пульсирующий круг на потолке, и мать увидел — как живую, и слезу в ее глазах — как живую: как она копится и вдруг падает Мишке на голову...

— Да что ты, парень, да живой твой отец, живой... покойница-то мать верно говаривала, что живой. Гляди-ка, угадывала мать, царство ей небесное... Мы с отцом твоим перед войной в совхозе одну работу работали...

— Да знаю я, знаю, ну!

— Ну и прислал он недавно конверт: так и так, Вася Макушев, если ты живой и помнишь меня, отпиши свидетельское письмо на собес про наши с тобой общие годки в совхозе... Он, видишь, на пенсию выходит и стаж разыскивает...

— Где? — только и выдохнул Мокеев.

— Письмо-то? А дома лежит, за зеркалом в углу. Пойдем, что ли? — спросил дядя Вася, будто можно было не пойти.

Мокеев встал, забыв про биточки, дядя Вася взглянул неодобрительно, крикнул:

— Кхе, брат, ты того... доешь... непорядок...

Мокеев послушно доел и двинулся следом за дядей Васей.

На конверте был обратный адрес, и в конце письма тоже был обратный адрес, и почерк, чувствуется, нетвардый — мало в жизни человек писем писал, буквы углами стоят, каждая сама по себе.

И про них, семью, ничего отец не спрашивает в письме. Вот что странно — ничего не спрашивает. Будто в другое место пишет, не в родной поселок...

Мокеев вернулся в Ленинград, дождался сестренку Нинку с работы, и начали они советоваться. Много чего говорили, теперь кое-что и вспомнить неловко. Даже такое было: не лихой ли какой человек объявился под отцовым именем?.. По телевизору недавно историю передавали похожую, так мало ли... особенно, если в плену был... Словом, может, еще и не отец окажется. Но это все Мокеев сам высказывал, Нинка-сестренка со всеми предположениями сначала вроде соглашалась, а потом отвергала: нет, наверное — отец. Не зря же мама говорила, что живой он, живой. С тем и померла. Так до самой смерти своей и не признала отца погибшим...

Что мог Мокеев против такой женской провинциальности сказать? Только рукой махнуть. Он ведь уже в ГАИ почти пятнадцать лет, как-никак, а милиционер, и за такое время всяких чудес наблюдал и тем более наслушался. Чего в жизни не бывает!..

Но и посоветоваться больше не с кем, только с Ниной да с мужем ее. Муж, конечно, инженер, на хорошем заводе работает, но ничего вразумительного сказать он не мог. Сказал только: сходи куда следует, предупреди — так и так, мало ли... чтоб без неожиданностей...

В общем, решили этот вопрос больше не теревить. Мокеев сказал: сам подумает, сообразит, как поступить.

Стали с Ниной по альбому искать отцовы карточки. Пока росли — сколько смотрели, запоминали, как батя выглядит. А выросли — и альбома не найдешь в доме... И дом-то — две малагабаритные комнаты на Выборгской стороне. Перебрали все бумаги, нашли. Опять посоветовались, отобрали три карточки: где отец молодой, с дядей Басей снят, еще до войны — пожелтела карточка, но разобрать можно.

Вторая — где отец с матерью, у старого их дома, на фоне, а позади, на ступеньке, сам Мокеев сидит, тогда еще Колька. И третья — за столом снято, какой-то праздник был, все с рюжками, и дядя Вася тут, и прочие отгоды дружки, и родня, и мать, конечно. Это на тот случай, если понадобится спрашивать, кто есть кто, если сомнение нападет. Тридцать лет все-таки — время!

Решили так: в остаток отпуска Мокеев слетает проверить: действительно отец или другой кто. И еще решили, хотя Мокеев и не просил, что проезд, самолет и остальное, поделят пополам. Мокеев сначала не соглашался, но инженер Ниинц настоял — у нас, мол, детей нету, нам полегче вашего, и премиальные у нас, и вообще... Мокеев подумал и согласился: свой резон тут был.

В общем, полетел он. Прилетел в область, туда сюда, автобус в тот район бегает, через час после самолета отходит. Мокеев в полете все думал про подмену — может быть такой вариант, если, скажем, отец в плен попал. Узнали про его жизнь все мыслимые подробности, человека подобрали, подходящего по облику и по комплекции, и заслали вместо отца. С его документами. Или просто с историей его жизни. Пришел этот подменный человек, узнал, что жена того — настоящего — Мокеева еще жива и дети живы. Ну и смотался до времени. Ушел в тень. Законсервировался. А теперь — какие сроки прошли, мать померла, сестренка в Питере на другую фамилию вышла, он сам, Мокеев, на Север подался, Мишка на Дальнем служит — ну и решил тот, подменный, что пора приспела. Послал письмо дяде Васе: так и так, года трудовые разыскиваю, отпиши про довоенный период.

Тем более — сколько лет минуло, теперь и узнать мудрено, мало ли как человек изменится. За тридцать лет...

Но карточки Мокеев все-таки везет — в бумажнике, на левой стороне груди. Раза три вынимал в самолете, рассматривал. И кажется ему, что если уж увидит он настоящего своего отца — не может быть ошибки, в точности сам узнает.

На всякий случай вспомнил, пока летел и потом, пока в автобусе качало, — вспомнил, как Мишка, самый из Мокеевых младший, который теперь на Курилах начинает свою офицерскую жизнь, — как он ходит, как голову клонит, когда внимательно слушает, как ест, и лицо Мишкино. Мать сколько сравнивала, что Мишка у них — самый на отца схожий. И походкой, и манерой, и лицом. Вылитый отец, говорила, если бы Мишку после окончания училища с отцом предвоенным поставить — не различить бы. Мокееву, помнится, еще обидно было от матери такое слышать.

Так что надежда у Мокеева была — не промахнуться.

В районный центр он приехал вечером, пришлось в гостиницу пропиваться. Пришлось даже удостоверение свое гаишное развернуть: мест мало, совещание какое-то намечалось на завтра, кругом бронь сплошная — не хотят верить, что на одну ночь, потом, мол, возиться, выживать да угавривать...

Наутро в милицию пошел, в местное ГАИ. Так и так, автобус только во второй половине дня в поселок такой-то, а у меня каждый час на счету — помогите, коллеги. Опять пришлось удостоверение развернуть. И ситуацию пояснить: так и так, еду правду узнать, отец или подменный кто. Младший лейтенант там первым делом и брякнул: ты бы зашел, говорит, старшой, к кому следует, предупредил бы. Мало ли!.. Но Мокеев раскрылся:

я, мол, просто приеду и ничего такого не выскажу. Я сначала посмотрю, что за человек, чтобы конфузу не получилось. Если, значит, будет какое колебание, то сразу дам знать. А так — неловко людям тревожить...

На том и порешили. И младший лейтенант посадил Мокеева в свою желтую коляску и отвез к большой дороге местного значения. Некоторое время они там постояли, потом младший поднял руку и остановил самосвал с камнем. И сразу попал на кого надо — из того самого совхоза шофер оказался. Мокеев уважительно на младшего взглянул — знает парень дело, зря руками не машет. Показал младший на Мокеева водителю, сказал: «Наш человек, по делу едет, подброе-ка». Водитель оценил Мокеева, на кабину кивнул, и тронулись они вперед. Сто восемьдесят километров было впереди — не баран чихнул. Так-то версты невелики, конечно, но Мокеев человек северный, и степная жара пришлась ему очень не по нутру. Через двадцать минут рассуноился он весь — до трупов. Тем более, водитель сам пример подал и в совхозе обещал первым делом душ организовать — теплый.

И все бы ничего, и легкая бы дорога, если б вдруг за каким-то пыльным поворотом не оказались двое с поднятыми руками — стоят, просят посадить. И водитель останавливается, вот что удивительно. И начинают они всерьез толковать, как он их доведет до какого-то места. А где их везти, этих ребят? В кузове камень рваный, и вообще — самосвал...

Мокеев спросить не успел, парни поскидали свои пиджачки, водитель им замасленный матрас выдал (уж не специально ли возил с собой?), и вачали они там, в кузове, пристраиваться. Каменюки гремят — это ребята их поудобнее выкладывают, чтоб задницы не порвать.

Водитель Мокееву, глядя в удивленное его лицо, сказал:

— Ты, парень, глаза не выпячивай. Знаю, что нарушаю, так чего делать? Тебе надо ехать, им тоже надо. А попутных, может, сегодня до вечера не будет. И палит — сам видишь, как. Тут, брат, как в тундре — оставишь человека, а завтра за ним можно катафалк присылать, всяко было. А ты, парень, не местный?

— Приезжий, — согласился Мокеев.

— То-то, вижу, удивляешься. Наши-то сквозь пальцы на это дело, — сказал водитель, и поехали они. Нельзя сказать, чтобы осторожнее он машину повед — нет, по-прежнему поехали, и когда подкидывало самосвал и камень сзади грохотал — нехорошо Мокееву было, и еще жарче, и на душе нехорошо. И не знал он, как тут поступить. С одной стороны, он, конечно, инспектор и такая транспортировка людей, да еще на его глазах — чистое преступление. С другой, конечно, он тут в дивильном облачении, и местные условия, так сказать... И правда, как людей бросишь в такой степи, когда жарит со всех боков, и пыль, и воды нет, и неясно, сколько до ближайшей воды километров и сколько сзади удобных для людской перевозки машин!..

Но никак успокоиться Мокеев не мог, и здорово нехорошо ему было от того, что эти двое сзади на камне трясутся. И раздирали его противоречия, и никакого решения принять он не мог, и только зубы стискивал, когда сзади грохотало, и после одного ухаба все-таки сказал водителю: ты, мол, осторожнее, дружок, а то эти там — и показал большим пальцем через плечо. Водителю вдруг стало смешно, он даже захохотал: я, мол, и под-

забыл уже, что в кузове еще двое. «Шутки у тебя как у того боцмана», — пробурчал Мокеев. Что еще такому скажешь!..

Потом жара и дорога без примет все-таки сморили Мокеева, он расклинился как мог и заснул. И навалилась на него сразу усталость за все: и материна могила, и дядя Вася с его таким заявлением, и старые карточки, которые всё в душе всколыхнули старое, и самолет, столько часов гудевший своими турбинами, и долгий автобус до райцентра, и гостиница, в которой выпастись толком не дали, и, главное, мысли не дали выспаться. А теперь, когда самосвал легко катил его в нужном направлении, он вдрызг устал и так заснул, что не слышал даже, когда машина остановилась и те двое сошли, и двинулась машина дальше, а Мокеев все спал, но спал настороженно. Однако настороженность эта ждала каких-то иных тревожных сигналов. Наверное, разбудить его мог динамик спецсвязи с патрульными машинами ГАИ, или голос Яклича, или еще что-нибудь в этом роде, к чему он так привык за долгую гаишную службу. Не слышал Мокеев и первого грома, а от второго, который с отяжкой прокатился над самой головой, проснулся. Туча закрыла почти все небо — густая, сизая, какая-то болезненная. Они въехали в дождь, и небесная вода смыла со стекол пыль, и капот перед глазами заблестел, и крылья — будто самосвал только выкатился с конвейера, из заводских ворот. Под колесами пошла глина. Они как раз подъезжали к какому-то промежуточному поселку — домиков двадцать, не больше, стены гладкие, крыши плоские. «Глинобит», — сказал водитель.

Тут и перевернулись. Они уже въехали в поселок, и дорожное полотно в этом месте шло по небольшому, метра в четыре, откосу. Машина вдруг пошла плавно разворачиваться влево, водитель правильно вывернул руль, но задние колеса уже попали на уклон, и машина аккуратно легла на правый борт. Мокеев не успел ни испугаться, ни крикнуть — земля оказалась рядом с лицом, он успел только ухватиться за руль и слегка подтянуться влево, подалее от летящей навстречу глины. Кабина оказалась повыше кузова, но сползала и выравнивалась, и Мокеев вдруг вспомнил своего крестника, которого в свое время вытащил из кабины перед тем как замкнуло, и ему стало плохо, так что даже застлало глаза... Не от страха, не от воспоминаний о том пожаре — нет. Только теперь, когда они уже тихо лежали на правом борту, он услышал грохот камней, вылетающих из кузова в глину, и вспомнил о тех двух парнях, которые на промасленном матрасе и своих пиджачках устраивались позади кабины. Он застонал от этой мысли и услышал вопрос водителя: «Прижало тебя?» Водитель спросил таким обыденным голосом, будто всякий раз на этом месте переворачивался с грузом, и ему это уже прискучало.

— Парней побьет, — промычал Мокеев.

— Каких парней? — удивился водитель. — Приспал ты, сошли они давно, парни, пусто там...

Когда они выбрались через левую дверь, в кузове и вправду было пусто. Камень выкатился и россыпью лежал на мокрой глине. И был даже какой-то свой порядок в этой картине, во всяком случае нечто подобное Мокеев видел не раз на снимках ГАИ и сам не раз нечто подобное фотографировал, когда дежурил. «Диафрагма пять и шесть — и одна пятидесятая», — он даже выдержку прикинул, взглянув на опрокинутый самосвал. Привычка...

К ним спешили люди в сапогах и широких дождевиках, и Мокеев только сейчас увидел, что они с водителем стоят под дождем в одних трусах. И полез в кабину сверху, через левую дверь, за штанами и рубахой.

Самосвал довольно быстро поставили на ровный киль — народ сбегался рево. Дождь прошумел и ушел дальше. Водитель вывел машину на дорогу, развернул кормой к месту происшествия, и ему быстренько, руками, набросали камень обратно. Мокеев и подивился и порадовался такому порядку вещей: местные условия...

До поселка, указанного на отцовском конверте, оставалось им теперь немного: чаю попили, попереживали вслух — и двинулись. Если до поворота они почти не говорили с водителем, да Мокеев отоспал еще порядочный кусок дороги, то теперь говорили почти не переставая. Рассказали, кто где служил, кто на ком женат и сколько детей. И про оклады поделились. И про условия снабжения. И про всякий дефицит. И про «Запорожец» и про новые «Жигули» перекинулись.

Но все же Мокеев не стал открываться водителю, зачем в такую даль приехал. Водитель вокруг да около этой темы походил, но допытываться не стал. Начал рассказывать что-то про соседа, и выходило так, что рассказывает он про отца. По возрасту выходило, по имени. Мокеев молча волновался и вроде бы из вежливости задавал вопросы: да женат ли тот сосед, да почему водитель по имени его зовет, без отчества, и всякое такое.

Водитель отвечал охотно, без подозрений — и выходило, по его рассказу, что соседу выпадает по возрасту на пенсию, что мужик он толковый и правильный, что живет он малой семьей, женат, но не завязались дети, что уроженец он чужой, нездешний, но после войны тут оседлость завел, и все здешние его своим считают. Еще выходило, что обижен сосед на порядки и собирает стаж письмами с прежних мест работы и жительства, хотя, конечно, война прошла, какие теперь свидетели — пустое дело искать, только расстраиваться! А стажу не хватает, и он, водитель, сам не так давно письмо соседское отвозил в район, чтоб быстрее дошло, — у них в поселке не каждый день автобус, и почта, бывает, в распутицу по неделе вылеживает и больше. Еще по рассказу водителя выходило, что сосед всю послевоенную жизнь работал на малом подхвате — кому печку сложит, кому переберет, кому мебель смастерит, ну и по другим хозяйственным делам — человек бывалый, без денег не сживал, чаю без сахара не пил, но стаж, видишь, пришлось собирать под закат старости...

Водитель так и сказал: под закат старости. И Мокеев невольно посмотрел на него сбоку — лет тридцать было водителю, вряд ли больше, и молодежavo выглядел водитель, и нервы в порядке (судя по опрокидыванию — не выругался даже! Будто так и надо!), и в доме, судя по рассказу, порядок, и шестьдесят пять соседских лет кажутся ему, водителю, такими далекими и безнадежно большими годами, что — закат старости...

Мокееву подкатывало под сорок, и он как-то уже отошел от такого тридцатилетнего воззрения на возраст...

— А как фамилия твоему соседу? — спросил Мокеев. — Ты так о нем рассказываешь — мне даже фамилия интересна стала: забавный, видать, человек...

— Забавный, — согласился водитель. — А фамилия у него самая обыкновенная — Мокеев. Мокеев Савелий.

— Надо посмотреть на твоего Мокеева, — сказал еще Мокеев, чувствуя, как колотится сердце, и только сейчас, кажется, по-настоящему испугавшись случившегося опрокидывания: ведь мог и не доехать! — Ты мне покажи его, как приедем.

— А чего ж, покажу. Завтра с утра познакомлю. Надо чего заказать — пожалуйста, можешь с ним без церемоний. И сапоги стачать, и валенки свалить, и по дереву, и печное дело — пожалуйста, он не откажет. Правда, и свое возьмет за работу. Себя уважает, — сказал водитель — без осуждения сказал, нормально сказал, как говорят о крепком, об основательном работнике.

И Мокееву ужасно как захотелось, чтобы все вышло без обману, чтобы отец оказался отцом, чтоб узнал себя на карточках, и мать чтоб узнал, и его, Николая, своего старшего, узнал бы в пацане, который на ступеньках сидит, наголо остриженный, с деревянной саблей в руке. И еще вспомнил Мокеев про отца — мать рассказывала: отец минуты без дела не сидел, что стрясется — сейчас починит, отладит, зашьет, приколотит...

Отец... Должен быть он!

— Зачем же с утра? — сказал он водителю. — Сейчас приедем, сразу и покажи мне твоего Мокеева. Сразу и познакомь.

Водитель посмотрел на Мокеева, покачал головой:

— Странный ты парень — всю дорогу молчал, теперь тебе Мокеева подавай на ночь глядя... темнишь ты что-то...

— Да чего темнить, — сказал Мокеев. — С интересным человеком почему не познакомиться!

Водитель промолчал, не ответил, да Мокеев и сам понял, что слова сказались фальшиво — и его интерес к соседу Мокееву сразу прояснился, и водителя, наверное, теперь думает, что из-за этого соседа и едет в поселок переодетый милиционер, о котором гаишный младший лейтенант в райцентре сказал: «Наш человек».

Впрочем, никаких вопросов водитель больше не задавал, и сколько ни рылся в памяти, ничего такого грешного за соседом Мокеевым не обнаружил, но когда они подъехали к водителескому дому и вышли наконец из кабины, попили холодного квасу, водитель не стал рассуждать, вывел из сарая «Ижа» с коляской и, бросив Мокееву: «Я скоро», — укатил. Предварительно он переговорил с женой, выяснил, что соседи где-то на другом конце поселка, у тех-то или у того-то...

Начинало темнеть. Хозяйка угощала Мокеева, двигая к нему тарелку, но ему кусок в горло не лез, и сердце колотилось вслух, и все было странно Мокееву в эти минуты: и этот поселок, и длинная дорога, и удачное опрокидывание, и этот прохладный дом, и ясное высокое небо, непонятно почему затягивающееся вечерней мглой...

Он вслушивался в пустынную улицу, очень желая скорого возвращения водителя с отцом или с тем, кто отцовской фамилией назвался, — только бы не успело совсем стемнеть, чтоб увидеть этого человека в натуральном свете. И чтоб — скорей.

«Иж» развернулся у штакетника. Водитель привез своих соседей, которыми так вдруг заинтересовался случайный пассажир; на багажнике сидел мужчина, Мокеев даже лица не смог различить — то ли боялся присматриваться, то ли волновался до потери фокусировки... В коляске сидела женщина, Мокееву незнакомая.

Он поймал себя на этом — женщина незнакомая... А мужчина, значит, знакомый? Как же так? Он еще и не рассмотрел лица, еще ничего толком не

понял и походки не видел — ничего не видел, слова от него не слышал — а узнал...

Узнал?

Узнал ли?..

Человек слез с багажника, попытался всомтреться в Мокеева из-за штакетника. Водитель кивнул ему на калитку, и Мокеев-старший вошел.

Он шел к крыльцу не торопясь, очень спокойно шел, привычно ступая по этой земле, и Мокеев-младший вдруг увидел, каким будет Мишка, когда состарится и доживет до отцовых лет. Все было знакомо, все было Мишкино, то есть наоборот — в Мишке все было отцово...

Мокеев чуть было не сказал: «Здорово, батя». Те самые слова, которые он, пока летел и ехал, сколько раз повторял, представляя себе их встречу. Отец остановился, протянул руку: «Мокеев Савелий Алексеевич».

Мокеев-младший тоже протянул, пожал отцовскую заскорузлую ладонь и сказал: «Очень приятно». И не назвал себя.

Водитель стоял рядом, все наблюдал и приподнял левую бровь: где это видано, чтоб человек моложе соседа вдвое да сыска так здоровался. «Приятно» ему, а не назвался.

Мокеев-младший смутился, только сейчас поняв, что не назвал себя отцу, и сказал: «Сядем?»

Отец пожал плечами, посмотрел на водителя, будто советуясь.

Водитель спросил:

— Я не помешаю вам?

— Нет-нет, — сказал Мокеев-младший, — наоборот даже...

Что — наоборот, он и сам не знал. Он торопливо полез в карман, вытащил из бумажника карточки и протянул их отцу: «Взгляните, пожалуйста...»

Отец долго рассматривал фотографии, вздыхал, смотрел на Мокеева и наконец спросил: «Откуда они у вас?»

— Как откуда? — удивился Мокеев. — Это мои... то есть наши с Ниной... А Михаил теперь на Дальнем Востоке, училище кончил, служит там...

Отец покачнулся, оперся двумя руками о скамью и стал всматриваться в Мокеева.

— А вы? — начал спрашивать он и не спросил до конца — все смотрел, все смотрел и смотрел, переходя глазами с лица на волосы, на глаза, рот, нос, брови, на плечи, на руки, опять на волосы и снова — на глаза... Не узнает...

— А я — Николай, — сказал Мокеев сдавленно, — я это... здравствуй, батя...

— Николай, — тоненько сказал отец, — Коля? — тонко-тоненько, не своим голосом спросил отец. И заплакал.

— Ну как же, батя, как получилось? — спросил, не удержался Мокеев. Ночь глядела в окно, было уже и поплакано, и выпито, и рассказано... Наталья Семеновна, отцова жена, оставила их одних, и они сидели теперь, отец и сын, незнакомые друг другу. И Мокеев-младший наконец спросил, что давно хотел спросить.

Отец вздохнул, встал молча и достал из комода пачку писем, перетянутых резинкой. Отобрал несколько конвертов, протянул сыну: «Вот...»

Мокеев читал листки, сложенные на гнибах: «На Ваше заявление... сообщает... местонахождение вашей семьи не установлено...» «В ответ на Ваше письмо, дорогой товарищ Мокеев, с горечью сообщаем, что дом, в котором жила Ваша семья после Вашего ухода на фронт, был разбит немецкой бомбой с самолета и под обломками от взрыва погибли все три семьи, проживавшие в этом доме... примите

наши соболезнования... бейте проклятого врага, чтоб...»

— Батя,— сказал Мокеев,— это было, нам соседи написали, что дом сгорел, но бомба попала после, когда мы уехали, батя, это после было...

Отец молчал.

— А ты поверил, батя?

Отец кивнул. Лицо его дергалось, губы покривились — он еле сдерживался, лоб вспотел и влажно взблескивал под светом настольной лампы из угла.

— И после войны не написал больше ни разу и не заехал?

— Ты дальше читай! — сказал отец.

Мокеев прочитал дальше: «Похоронить останки тех семей раздельно не представилось возможности, дорогой товарищ Мокеев, так как все взрослые и дети были убиты взрывом, а дом полностью сгорел, вместе с мебелью и носильными вещами, поэтому останки пришлось положить в братскую могилу, сразу после той бомбежки, извините, торопились, враг подходил, вы фронтовик, вы должны знать...»

Долго они сидели и молчали — и младший Мокеев, и Мокеев-старший не знали, как им теперь. Объединяют их эти нечаянные годы разлуки, которые выяснились... или окончательно разъединяют. Младший Мокеев не мог заснуть в эту ночь, забывая только под утро, ненадолго. Да и старший проворочался, вспоминая, сколько раз порывался съездить на родное пепелище и так и не съездил: боялся добить себя. И так теперь выходит, по окончательному расчету, что себя берег, а жена троих вытасила до полной человеческой зрелости, а он — тут, вдали, горе свое отбывал...

— Что же ты, Савелий, не сказал ни разу, что детишки у тебя были, целых трое? — спросила ночью Наталья Семеновна, она тоже не спала. — Тридцать лет вместе прожили, ни разу слова не обронил про детей...

— Считал — погибшие все, — глухо сказал Мокеев-старший. — Что же теперь... я, Наталья, не перед тобой, я перед ними виноватый... в жизни...

— Какая ж твоя вина, Савелий, ты письма писал, я видела, только спросить боялась.

— Что ж письма, Наталья, письма — они бумага, и все...

Утром поднялись. Пока умывались, завтракали, перекидывались случайными словами — как-то не смотрели друг на друга. Потом вроде наладилось, и при дневном свете сын рассмотрел отца и отец — сына. Мокеев-младший рассказал про мать, про Нину в Питере, про Мишку. «Я тебя, батя, и узнал сразу, до того вы с Мишкой схожи — и на лицо, и походкой, и всеми статьями...»

Лицо отцовское снова стало мучительно морщиться, и Мокеев больше ничего такого отцу не напоминал.

К вечеру собрался в обратный путь. Отпуск кончался, все сошлось, можно возвращаться. Напоследок пригласил отца к себе в гости, и Наталью Семеновну пригласил. И уехал.

И вот теперь ждет на праздник отца Мокеев. Утром сегодня телеграмма пришла: будет отец завтра утром. И сейчас Мокеев прикидывал, куда он отца поместит, особенно если отец с Натальей Семеновной едет. Если один — еще ничего, как-нибудь, а если с женой, придется просить начальство, чтоб гостиницу забронировать, иначе не выкрутиться — на восьми-то квадратах...

Вот об этом всем и рассказал Мокеев лейтенанту Володе, коротко рассказал, в двух словах,

— Он, видишь, поверил, что мы убитые той бомбой... Я тот листок из поселкового Совета держал, так он весь переломан — столько раз он его читал, пересматривал! Сразу, значит, вычеркнуть не мог нас. А вот не приехал... проверить... А мы когда вернулись, начальство в поссовете заменилось, люди новые наехали и в архивы не заглядывали, сопоставить было некому... И видишь, Володя, как получилось: жили мы с матерью рядом с тем отповским письмом, где он искал нас, и с кошкой ответа — и не знали ничего. Отец на фронте еще был, когда получил это письмо, и прямо из Германии уехал на новые места, в степь. Так и разошлись...

— А мать, говоришь, так и не поверила в его смерть?

— Так и не поверила.

— Телепатия? — спросил лейтенант Володя.

— Выходит, так, — сказал Мокеев. — Или сердце.

В дежурной комнате все было спокойно. Патрульные машины молчали пока, позвонил водитель автобуса с Владимирской улицы — его ударил грузовик, Яклич выехал туда, разбирается.

Со второго этажа спустился начальник. Выслушал рапорт, полистал журнал:

— Тихо, значит?.. Бои местного значения...

— Вот именно, товарищ полковник, местного.

— Ну-ну, к вечеру надо ждать событий, — сказал полковник, — прогноз обещает похолодание к вечеру, каток. Передайте патрульным машинам, чтоб поговорили на перекрестках об осторожности. И сами, Мокеев, давайте-ка, пока тут тихо, прокатитесь по городу, побеседуйте с людьми. Да, кстати, загляните на Театральную площадь, там соревнования по вождению, проверьте там ограждения — и зрителей от колес подальше, подальше.

— Ясно, товарищ полковник.

— И дорожникам напомнить, чтоб сыпали песок.

— Уже звонили.

Мокеев поехал по городу, время от времени включая динамики и предупреждая пешеходов об осторожности. На перекрестке у кинотеатра остановился, выждал, когда у светофоров скопится побольше машин, и предупредил водителей о гололеде.

Поехал на площадь. Ограждение стояло, веревочное, по краю тротуара. Народу было немного, но был народ — смотрели на мастерство вождения, хотя, по совести сказать, смотреть особенно не на что было. Соревновались две автобазы. Мокеев следил, как грузовик проходит змейку, как неуверенно водитель подает задним ходом в «гараж», как, наверстывая время, несется к «габаритам» — чуркам, мимо которых нужно провести машину, не тронув чурки колесами. Судья с флажком у габаритных чурок вдруг взмахнул не вовремя, будто закрываясь, и вскрикнул, поднимая к лицу и вторую руку. Чурка, обозначавшая правый габаритный край, вылетела из-под колеса и вскользь мазнула судью по голове. Машина уже стояла на финишной черте, к судье побежали, и водитель подбежал, и белый халат появился. Мокеев подошел — синяк на скуле уже созрел, здоровый синячина, медик хлопотал около с какой-то мазью, а несчастный судья нервно хлопал себя флажком по ноге. Страшно, в общем, ничего не стряслось, но — могло... Такой чуркой из-под такого колеса могло и зашибить, если б как следует попало...

— Правого колеса не чувствуешь, — сказал Мокеев водителю, который смотрел на хлопоты виновато и, кажется, не понимал причин.

И Мокеев вспомнил утреннюю планерку и тот

вчерашний случай, когда мебельный фургон, разворачиваясь во дворе, задел правым колесом мальчика Борю... Здесь, на соревнованиях, чурка, а там, в жизни, Боря...

«Не чувствуют люди своего правого колеса», — почему-то обобщил Мокеев, сидя уже в «Москвиче» и направляясь к ГАИ.

«Может, вообще многие беды в жизни — от этого, — неожиданно обобщил Мокеев, — что правого колеса водителя не чувствуют. Водители — и вообще люди...»

Водитель сидит на левом колесе, но если он правого не понимает — какой он водитель? И в каждом деле есть свое правое колесо. Мокеев вспомнил, как полгода назад разбирался возле «гастронома» с грузчиком, который без прав сел за руль и наворочал делов... двор тесный, да ящиками заставлен, тут и дети играют, тут кочегарка шлак возит горячий, тут же какие-то костыли торчат из стены, острые, до полуметра. Мокеев тогда дворника разыскал, показал ему на костыли, на детей. «Дак чего?» — не понял дворник. «Дак загни, — объяснил ему Мокеев. — Долго ли до беды...»

Или — дом строят, забором площадку обнесут, а доски пришивают изнутри. И все гвозди торчат с пешеходной стороны, щеткой. Да что там... почти всякое дело с какой-то стороны опасное, но ведь думать надо про ту обратную сторону... про свое правое колесо...

В дежурке было по-прежнему тихо. Яклич вернулся, рассказал, что молодой водитель слегка ударил сзади автобус на спуске у завода, говорит — взглянул вправо, не успел среагировать. Ударил не сильно, пустяк, потерь никаких, но талон Яклич ему все-таки проколол: за неправильно выбранную скорость в конкретно сложившейся ситуации.

Яклич быстро определял причины и степень вины: восемнадцать лет все-таки — стаж.

Нужно было позвонить Вале, посоветоваться насчет приезда отца. Кстати, о телеграмме она еще не знала.

Мокеев набрал номер — занято. Еще набрал — опять занято. Перешел в соседний кабинет, чтоб не загружать дежурный телефон, — там у них в учительской вечно кто-нибудь виснет на проводе, девочки молодые вцепятся в трубку — не оторвать.

Дозвонился наконец. Валя подошла. Решили по телефону не обсуждать вопрос, вечером поговорить. Еще Валя сказала, что задержится сегодня: школа наконец договорилась с шефами и через час придет автобус — поедут в совхоз, на экскурсию. Что-то быстро сжало Мокееву сердце, и внизу обычный такой холодок возник — будто падаешь во сне или вляшь кто-то падает на глазах.

Он хотел что-то сказать насчет гололеда, но раздумал отговаривать — несколько дней Валя жаловалась: автобуса не дают, и экскурсию переносят со дня на день. Теперь вот дали. «Не вовремя дали», — подумал Мокеев. И помощник Олег, будто услышал мысли, пропел, откладывая Тургенева и потягиваясь: «Гололед на земле, гололед...»

Начинало смеркаться, медленно падал редкий снег, и Мокеев по старому опыту знал: так оно не кончится сегодня — «боями местного значения».

Часы показывали шестнадцать.

Мокеев ходил по дежурке маятником, потом забрел в соседнюю комнатку, где стоял телетайп, потрогал клавиши, постучал по сейфу ладонью, открыл крышку спецчемоданчика: все было на месте, все в своих гнездышках — фотоаппарат, объективы, кольца, планка, лупа, пинцеты. Закрыл крышку, снова взглянул на часы — прошло десять минут.

И он понял, что нужно ехать.

Он сказал, что проедет по дороге к совхозу, километров пятнадцать, и потом вернется; на этом расстоянии с ним можно держать связь по радио, если что — пусть Олег вызовет.

Олег сказал на прощанье: «Позови меня, позови меня, если надо, то позови...» И снова уткнулся в Тургенева. Дежурство обещало быть тихим до конца, Олег еще не пропитался тем ощущением дороги и движения, какое обрел Мокеев за пятнадцать лет.

А Мокеева беспокоил тот самый спуск с поворотом, который перед самым совхозом. Прошлый год тоже было там — в первый гололед, подсыпание не успели, и самосвал пошел юзом, крутло его волчком, пока не влетел в совхозный забор, доски проломил и застрял по диагонали. Торчал из забора, как барельеф.

На выезде из города Мокеев постоял, пропуская машины и следя с замиранием, как начинают поерзывать колеса. Показался знакомый автобус с желтой каймой, Мокеев увидел в переднем окне белую шапочку Вали и лицо ее, и она увидела и махнула ему. Он сел в свой «Москвич» и поехал впереди автобуса, метров на сорок впереди. В зеркальце заднего вида Мокеев следил за дистанцией, хотя мог и не следить — водитель автобуса знал, что к чему, знал Мокеева, и сам пойдет сзади, как притеснутый. И ребята, Вали класс, сейчас тянут шен, заглядывая вперед, на милицейский «Москвич» с рупорами наверху — один рупор нацелен вперед, другой смотрит назад. Когда почему-то автобус стал догонять Мокеева, он включил микрофон и сказал: «Потише, приятель, потише». Он это домашнему сказал и видел в зеркальце, как водитель смешливо приложил руку к козырьку: «Слушаюсь!»

Мокеев, в ожидании того совхозного спуска с поворотом, стал думать про Вали, про ее ребят, про этого водителя-шефа. И про риск. Вот, если со стороны посмотреть, в руках этого паренка за рулем ни много, ни мало — класс. Тридцать душ, вместе с Валей. А с водителем — тридцать одна. Сколько сердца положено, чтобы вырастить тридцать человек... сколько денег, нервов!.. И сколько — когда вырастут — сколько Россия получит от них, даже если не станут эти тридцать большими людьми, а станут просто работягами и просто хорошими мужьями и женами!

А ведь много получит Россия от тридцати человек. Много.

А одно неверное движение руки, или гололед, или пьяный навстречу — и весь город в слезах. Как тогда, лет десять назад, когда шквал прошел, в июле. Детсад не успели загнать под крышу, и берега упала — вдоль дорожки, где мальцы шли, держась за веревочку... Весь город плакал.

Белая шапочка Вали в зеркальце, а лица теперь не видно, сколько на дороге, автобус еще неотстал — соображает парнишка, что не сенаж везет.

С Валей Мокеев познакомился здесь же, в этом городе, еще когда служил. Ну, гуляли, танцевали, вместе из увольнения бегом бежали — в молодости все впритирку, до последней минутки хочется исчерпать.

И тогда, помнится Мокееву, было у Вали свое лицо, не красивое — обычное, но — свое. Глаза хорошие были, вспомнил Мокеев, как у мамы глаза. Может, потому он и заметил Валию, потому и отметил ее?

Когда отслужил Мокеев, вернулся на Псковщину, к матери, Вале пообещал письма писать, и как устроится — приехать за ней. Валя ничего от него не требовала — ни обещаний, ничего, она молчала и опускала голову, будто задумываясь. И Мокееву становилось хорошо и весело. Он знал, как подружки нашептывали Вале, что зря она с солдатом связалась, только время теряет, — он уедет и адрес забудет, в двадцать лет на такие вещи память некрепкая у парней...

Весело становилось Мокееву, потому что знал он точно: вернется. И либо Валю с собой заберет, либо сам останется, либо куда вдвоем махнут, но уж вдвоем — обязательно.

Валя молчала — значит, было у нее сомнение. А Мокееву весело было — оттого весело, что заранее знал, как обрадует Валю, когда придет.

В первом письме сообщил он, что мать его встретила, что рядом городок есть небольшой, и заводец там — не сказать чтоб знатный, но работать можно, и квартиру сулят через сколько-то, если, конечно, жена будет и ребенок. И еще написал, что через два-три дня едет он в этот городок и устраивается в общежитие и с работой, а потом сразу адрес сообщает. Валя кончала свой педагогический, и ей в ту зиму нужно было распределяться. Так что требовалось Мокееву устраиваться капитально.

Но не получилось капитально. Общежитие, в которое он попал, было, видно, совсем безнадзорным: по вечерам ребята скучали, повод и без повода — бутылка. И не сказать чтобы плохие ребята жили с Мокеевым в комнате — нормальные ребята. А вот пили чуть не каждый вечер, спокойно пили, не задираясь, чрезмерно не шума, и это-то спокойствие более прочего испугало Мокеева. «Втянусь — и с привагом», — думал он.

Мокеев подумал-подумал и написал Вале, что не зовет ее в этот городок, думает расписаться — не по душе место. В детали он вдаваться не стал — не по душе, и все.

Расписался, заехал к матери, сказал свое мнение относительно дальнейшей жизни. Поехал к сестренке Нинке в Питер, погостил у нее в субботу, от поезда до поезда. В воскресенье утром вылез на знакомой станции с елками вокруг большой станцииной клумбы и потопал влево, через пути, к Вале. У родителей ее был маленький домик на окраине, почти в лесу. В домике том и сейчас они живут, на восьми метрах. Туда и подполковник бытовой приходил, из управления. Что-то дело снова заглохло — нужно бы поворошить насчет квартиры...

На дороге было относительно свободно, машины шли осторожно, лед поблескивал под фарами. Длинный спуск у совхоза Мокеев с тревогой рассматривать начал издали — еще не совсем стемнело. Машины наверху замирали, будто водители задумывались, не переждать ли, и Мокеев понял, что спуск посыпать еще не успели. И решил, что сейчас же заедет к механику в совхозный гараж и заставит посыпать спуск сию минуту — не уедет, пока не сделают.

Он подъезжал к повороту, когда наверху появился «МАЗ», не задержавшись, перевалил через гребень и пошел вниз, не сбавляя скорости. И внутри замерло, и Мокеев понял — вот оно...

Внимательно следя за «МАЗом», он повел «Москвича» навстречу, по самой обочине, взглянул в зеркальце и увидел радиатор автобуса сразу за собой. Водитель в автобусе вопросительно заглядывал вперед, на Мокеева, будто испрашивая разрешения на обгон, не понимая, почему тот замешкался. И боль-

ше Мокеев не видел ничего, кроме «МАЗа» на спуске. «МАЗ» уже шел косо, и Мокеев вдруг сказал вслух: «Не тормози теперь, только не тормози», — но водитель в «МАЗе», должно, не услышал — машину тащило вниз, разворачивая поперек полотна. Мокеев увидел длинный кузов с какими-то ящиками, перехваченными сверху веревкой. Может, какой вмерзший камушек попал «МАЗу» под колесо, потому что теперь его несло уже задом наперед и продолжало крутить, и выходило так, что «МАЗ» успеет сделать еще один поворот и на уклоне дороги, где медлил Мокеев и автобус за его спиной, сметет с дороги и Мокеева и автобус. Если, конечно, не случится чуда. Но чуда Мокеев ждать не имел права — он утопил педаль газа и рванулся навстречу «МАЗу», норовя так попасть, чтобы сколько-то сбить ему инерцию.

Валя, вся подавшись вперед, к ветровому стеклу, сначала не поняла — как это вдруг «Москвич» впереди сам коснулся тяжелой машины, почему он взлетел как картонный и упорхнул с дороги. И как это — такая тяжелая машина, только что несокрушимо и страшно вертевшаяся, внезапно замедлила движение и замерла в метре-полтора от автобусного передка. Потом сзади, за Валиной спиной, тоненько и страшно закричала девочка — кажется, Эля Морина...

Через три или четыре часа — Валя не видела стрелок — в коридор вышел хирург. Она не могла ни встать ему навстречу, ни спросить. Встал полковник. В ответ на его взгляд хирург глубоко затянулся сигаретой и только покачал головой.

— Вы его жена? — спросил хирург.

Валя только смотрела на хирурга — и молчала, и ждала.

— Думаю вот что: доживет до утра — будет жить. Приходите утром, будем ждать утра.

Валя смотрела на этого человека, и в глазах ее не копилась слезы, и слова не шли из нее — ни вопросы, ни просьбы.

Хирург сказал:

— Если будете ждать, я скажу, вам постелят в приемном на диване. Сестра, проводите женщину в приемный покой.

Когда Валю увели, хирург посмотрел на полковника:

— Хороший парень?

Полковник кивнул. В ответ на его молчаливый вопрос хирург снова сказал:

— Будем ждать. Будем ждать.

Утром, на планерке, когда помощник Мокеева младший лейтенант Олег Волков докладывал итоги за минувшие сутки, он вдруг увидел из окна кабинета начальника ГАИ угол за гаражной стеной и в том углу смятый кузов старой «Победы» и рядом — мокеевский «Москвич», странно и страшно сгорбленный ударом.

Олег, продолжая докладывать, удивился: сколько бывал в гараже и никогда не заглядывал в этот угол! А со второго этажа вдруг увидел...

И тогда только понял Олег Волков, что сейчас он — третий на этом стуле в кабинете начальника. Третий — после старика Булыгина и после Мокеева, судьба которого еще неясна.

Полковник сказал, взглянув на часы:

— Товарищи, сейчас прошу всех по местам. Летучку проведем ровно в десять тридцать. Я на вокзал. Через пятнадцать минут ленинградский поезд. Вагон пятый, — сказал он, глянув в телеграфный бланк. — Вас, младший лейтенант Волков, я попрошу за руль.

Голос первый

Стук будильника слышу,
Острых зубчиков стук.
Металлической мышью
В ночь вгрызается звук.

Он кусает, кусает,
Он грызет в тишине
Жизни хрупкий сухарик,
Отпущенный мне.

Время! Вечное время!
Неустанный прибор!
Словно выстрел, мгновенен
Я в сравнении с тобой.

Мне отмерено скудно
От запасов твоих,
Я лишь микросекунда
На часах мировых.

Тонкой черточкой, риской
Век мой изображен
На кругу исполнском
Циферблата Времен...

Голос второй

Слышу ночью весенней
ОбодриТЕЛЬный звук,—
Паутину мгновений
Ткет будильник-паук.

О всемирное Время,
Вечной жизни прибор!
Я бессмертно-мгновенен,
Я пронизан тобой!

Пусть из мигов-событий
Жизнь моя сплетена,—
Не из этих ли нитей
Сплетены Времена,

Тросы тысячелетий,
Канаты эпох?..
Я привязан к планете
С отдаленных веков!

От рождения — сразу
К этой жизни земной
Я навеки привязан —
Мне не надо иной!

Школа радости

Уроки радости природа нам дает,
Раскрыв страницы перелесков и лугов.
Ее указка-молния снует
По картам облачных материков.

Бывает полночь — будто черная доска
Перед учеником, забывшим свой урок,—
Но не тоска за нею, не тоска —
За нею счастье утренних дорог.

Лекально-плавны очертания холмов,
И звездные лучи разлиновали тьму...

И под диктовку ливней и громов
Мы учимся бессмертью своему.

Архитектура огня

Костер смелел. С поляны тьму гоня,
Бросая в ночь готические тени,
Багровые конструкции огня
Все усложнялись в торопливой смене.

Летела к звездам алая пыльца,
Огонь-строитель дерзостно и властно
Лепил макет собора иль дворца
Сам из себя — как бы из глины красной.

И на мгновенье тронный зал возник —
Многооконный, тысячеколонный —
Столь явственный, как будто он за миг
Был высчитан машиной электронной.

В том зале средь дымящихся ветвей,
Среди горящих листиков осенних
Метался одинокий муравей
И от огня искал себе спасенья.

Соотношения

Из мигов состоят года,
Из капель — пенные валы,
И в сладкой мякоти плода
Так зернышки его малы!

Величественная гора,
Взметающая град камней —
Всего лишь только кобура
Сил, что стократ ее важней.

Нам разум освещает путь,
Но как бы некою горой
Вещей естественная суть
Заслонена от нас порой.

Привязанность

И если приоткрылись мне
Истоки следствий и причин,
То чувствам ясны не вполне
Соотношенья величин.

...Но пусть порой я ниц и гол
Перед игрою внешних сил,—
В свой череп — костяной чехол —
Я всю Вселенную вместил!

ГНОМ

В прозрачной прорези окна
Всю ночь трудился он,—
Вот паутина сплетена,
Легла на небосклон.

Не муху и не мотылька
Подстерегал паук,—
Он заарканил облака,
И лес, и дальний луг.

Могущественный серый гном,
Он был ничтожно мал,—
Но все, что было за окном,
Он в сеть свою поймал,—

Уловлен солнечный восход
И катер на реке,
И реактивный самолет
Повис, как в гамаке.

Я понял суть его игры,
К черновику приник...
О, мне бы сеть на все миры
Набросить хоть на миг!

...Беззловную набросить сеть
На все, что за окном,
Чтоб все вплотную рассмотреть —
И отпустить потом.

Ночное чтение

Над томом Плутарха осеннюю ночью
Склонюсь — и минувшее вижу воочию.

Как будто остывшей поверхностью лавы
Неспешно шагаю, листая страницы
Запекшейся крови, свалявшейся славы,
Всего, что свершилось и не повторится.

О старец, твои ниспровергнуты боги,
Твоим аналогиям нет аналогий,—

Ну где этим римлянам древним и грекам
Тягаться с двадцатым космическим веком!

...Ушедшею давностью дышат страницы,
Но, книгу закрыв, я не в силах забыть их.
Под шлаком былого кипит, пузырится
Бессонная магма грядущих событий.

Антоний

Это знает Плутарх,
это было на ранней заре
Там, где старые стены,
и склоки, и ссоры, и схватки,
Там, где царства дрались,
как мальчишки на заднем дворе,
И империи клали друг друга
на обе лопатки.
Позабыты герои,
державшие заданный курс,
Позабыты погибшие в давних боях
ветераны,—

Но на теле Истории,
словно любовный укус,
На столетья оттиснут
поступок Антония странный.

Клеопатра коварно
из боя свой вывела флот —
И, забыв свое войско,
ревнивою болью томимый,
Как за флагманским флагом,
за бабьею юбкой плывет
Триумвир, полководец,
любимец солдатского Рима.

Обесславиться так,
осчастливиться так на века,
Быть воспетым не раз,
будто нет ни забвенья, ни тлена...

О, в какие надежды,
в какие слова и шелка
Ты умеешь рядиться,
бессмертная дева Измена!

Подражание восточному

Врачуй меня болью, печалью лечи,
Надрывною песней во мраке звучи,
Казни меня прошлым, ушедшим томи,
Последний покой навсегда отними.
Но знай: когда в раны влагаешь персты —
И руки, и сердце должны быть чисты.

Клавина любовь

ПОВЕСТЬ

Рисунок Ивана Харкевича

Несколько раз прокричали петухи, но рассвета не было, темень заслоняла окна. Вдруг загоготали гуси, долго не могли замолчать, успокоиться — переговаривались, пока каждый не выговорился. Дьяков не выдержал, поднялся, надел сапоги, на плечи накиннул пальто и направился на улицу. Он плохо спал, ворочался, покашливал и слышал вздохи хозяйки, полусонное злое бормотание Клавы, хозяйской дочери. Перешагнув порог, он помедлил притворять дверь, расслышал голос Клавы:

— Вот паразит-то навязался! Каждую ночь спать не дает. Пристал — корми его тут, никуда не подается.

— Потыше, разворчалась, — сказала ей мать. — Это с каждым может случиться. Спи.

— Уснешь теперь...

Дьяков тихо притворил дверь и вышел через сени на крыльцо. Обиды у него на Клаву не было: она права. Ночь, а он не спит, перебирает свою прошлую жизнь на Севере, в Карелии, выкашливает прежние простуды. Теплых вещей некому было прислать, перебивался как мог сам, и пока прилащился к суровому краю, застудил организм.

«Ах, черт возьми, так ей же больше двадцати, замужем быть пора, — пришло вдруг Дьякову в голову. — От моего ли кашля не спится?»

В деревне горели редкие уличные лампочки на столбах, не защищенные колпаками, излучали радужные кольца. В некоторых избах засветились окна. Дьяков сел на перекладину крыльца, прислонясь спиной к столбушку, подиравшему крышу, стал думать, куда податься из Подзавалова, где искать пристанища, обжиться. Для Подзавалова он — отрезанный ломоть, приставишь — отвалится. И люди стали для него чужими, и он для них — чужаком. Много прошло времени со дня его ухода — поотвыкли от него. И само возвращение в село казалось им подозрительным. Кто ни уехал из Подзавалова — назад не обернулись. У всех семьи по городам, квартиры. Внуков бабкам навезут на лето, сами отдохнут, отгуляются — и назад. Поприжились по городам. А он не был, не был — и приехал, да приехал-то без багажочка, с мешком за плечами, не на отдых и не на твердую жизнь.

Ночь переходила в предутреннюю мглу. С раек падали капли и били по опавшей листве словно по пустой посуде. Всего коснулась осень: оголились деревья, набухла от дождей замшелая кора, перемокли крыши. Углубляясь, вольнее гуляя ветрами по безлистным садам и перелескам, осень нигде не сулила бездомному человеку защиты.

Дьяков обратил память в детство, в юность. И тогда бывала осень, но такой пугавшей распутицы он не припомнил — теперь казалось, что лишь желтым налетом на леса, на сады проносилась она

мгновенно. Желтая листва мешалась с белыми мухами — приходила пыльная, радостная зима. В том возрасте все мгновенно и прекрасно, как быстротечен и прекрасен сам возраст.

От Подзавалова во все стороны уходили к городам дороги. Города эти были малые, бедные, но за ними стояли другие — промышленные, с большими важными стройками. И только где-то на горододекой стройке с общежитием могла бы снова подходить сложиться жизнь Дьякова, выбери он такой город, доберись до него.

Он не заметил осеннего рассвета. Вдруг открылось в тумане Подзавалово, словно из отдаленности сами собой придвинулись дома с сараями, погребами и садочками. Но все село было по-осеннему темным и неприветливым: казалось, стучись в любые двери, в окна — не достучишься.

За селом, над темным колхозным садом, вдруг блеснула звезда. Дьякову показалось, что она лишь засветилась, но вспомнилось, что она и раньше низко проходила в той же стороне и всегда появлялась под утро, словно накренилась земля — звезда и откроется. Он остановил на дрожащем свете звезды взгляд. Сколько раз он смотрел на нее со своего порога, когда под утро оказывался в одиночестве: шел ли с колхозной ночной работы, переживал ли неудачу свидания или разлуку! Под ее мерцанием вдруг изменилось Подзавалово: зажелтели новые, недавно выстроенные дома, осветились рыжие стены кирпичных зданий, и осень отступила неслышно в отдаление за подзаваловские дома, за поля, за перелески. И в каждом доме ему вдруг открылись давние знакомство, приветливость. Попади в беду — всюду окажут помощь, поддержку, только дотянись до окна, подойди к двери и постучись.

«А возьму и останусь! — решил вдруг Дьяков. — Поиду в правление, попрошусь в кузнецы. Люди живут — а я не смогу, что ли? Займусь с какой-нибудь для начала...»

В избе проснулись, затонали. Прогремела засловка. Дьяков догадался, что Поля проспала, сразу встала к печи, заспешила с завтраком! Он, словно чужой кот, ушел с крыльца. В прогулке расслышал — хлопнула сенная дверь, скрипнул на крыльце настил: кто-то после ночи вышел на ветер, посмотреть на утро и на село.

Дьяков направился в сад. На опустевших грядках тонули в земле сапоги, под подошвами хрустела капустная листва с морковной ботвой. Из вишенника и из-под яблонь поднимался запах осенней прелости, возбуждавший тревогу и сожаление о напрасно прожитом, о быстротечности времени. Он прошлепал под яблонями, заложив руки за спину, словно на прогулке, прикинул:

«Обжиться, куплю аккордеон — Клавка рот раскроет, как услышит...»



Гори, гори, моя звезда,
Звезда любви, звезда приветная,
Ты у меня одна заветная,
Другой не будет никогда...

Тихо напевая, Дьяков вышел из сада, не снеса пошел межой через огород к одоньям.

Осенние дожди вымыли из земли камешки и оставшуюся картошку. Весной земля кажется такой чистой и черной — перелопать, пересей ее — песчинки не найдется. Теперь по всем огородам были рассыпаны камни, осколки фарфора, поблескивали стекла. Дьяков помнил, что на их огороде так же выступали камни. Собирали, сносили их в канавы, а они каждую осень появлялись снова и снова, словно вырастали за лето.

И теперь, как бывало, все огороды истоптаны коровами. Глубокие следы остались на черной рыхлой земле, еще не выветрившейся от картофельного запаха, но уже опустевшей. Следы уходили к зеленым, где скотина находила сочный, в изобилии, корм. И туда же, к сзимоу полю, направлялся Дьяков.

У одоньев он обернулся. За сад вышел Николай, махнул ему рукой — вернись, мол, — и встретил приветливой улыбкой, спросил:

— Любовался местами? Или, как у вас говорят, природой?

— Просто на округу решил посмотреть, — ответил Дьяков, здороваясь с хозяином. — Все, правда, знакомо, как будто и не уезжал никуда.

— Родина, брат! — сказал Николай. — От нее ни в жизнь не скроешься. Другие, правда, приживаются на стороне, как говорят, счастье находят. Только, я считаю, треплются они все. Разве можно найти где замену? Возьми вон ракетки за огородом — они свои, как волосья на голове. В другом месте пускай сплошным лесом стоят, а они чужими тебе будут.

— Это верно, — подтвердил Дьяков.

— Еще бы нет... Ну, а там нас завтрак ждет. Пойдем, чтобы бабы не ворчали... Ты опять беспокойно спал? Много-то в голову не забирай. Все устроится. Всему время нужно.

— Возможно, и время, — ответил Дьяков. — Откроюсь тебе — я надумал остаться здесь. Не знаю, как затевать с таким делом, а решил.

Николай качнул головой, посмотрел в глубину его глаз, словно проверяя верность его слов, ответил:

— Решил — и правильно сделал. Если есть голова, деньги и тут можно загребать, бо-оль-шу-щую деньги! Колхоз теперь на новом ходу стоит: денга в обороте. — Николай потянулся к уху Дьякова, сказал полупшепотом: — Я сюда в зятя вышел. На мне один рваный пинжачишко был. А что теперь, а? Они вошли в сад. С яблонь капало. Сыростью разровняло, прижало к земле листву. Николай пересказывал, как он устроил свою жизнь, тем самым учил, как жить.

— Люди живут... Оглянуться только надо. Они такие же, как и ты, а другой хуже, в подметки не годится, а он на тебя сверху поглядывает, когда ты в таком положении. Остановишься — глядишь, и баба найдется. Пока мы поможем. Свои — живи, сколько захочешь.

Николай повел Дьякова к дому, оставляя ему дорожку, втаптывал на опустевших грядках в землю будилья укропа с маками, яблоневою и вишневою листву.

— Главное — решить. Там пойдет само, как по маслу покажется. — Николай поднял голову, втянул

воздух. Из трубы картошкой запахло. — Бабы завтрак сготовили... Там у нас со вчерашнего осталось по капельке... И-эх, жизнь! — Николай хлопнул Дьякова по плечу. — По-серьезному взяться — хозяину можно стать! Поддержка всегда будет.

— Куда мне! — ответил Дьяков. — Я как-нибудь так, с бочка.

— Как-нибудь у нас не пройдет, — сказал Николай. — Ша! А пока все заботы выбрось из головы. Сейчас пировать будем.

— Особо-то не тратьесь, — сказал Дьяков. — Я и так вам много задолжал.

Николай схватил Дьякова за рукав, притянул к себе, предупредил:

— Ты вот что. Если не хочешь терять нашей дружбы, то не говори мне больше о долгах. У меня все свое, не магазинное. Понял?

Николай говорил искренне, с мужским достоинством и добротой. Он вырос в сиротах, знал, как горько бывает сознавать, что ешь чужой хлеб, и не любил, когда люди усердствовали в благодарностях за угощение. Дьяков, к тому же, считался родней. Поля приходилась его матери троюродной племянницей, ему — десятой водой на киселе, но был случай, когда она и его признала своим родственником. Приезжал он со службы на похороны матери — Поля главенствовала тогда на правах самого близкого покойнице человека, вызвалась приглядывать за домом, взяла на докорм скотину. Когда Дьяков вернулся со службы и стал собираться в отъезд, она выговорила задешево избу и переселилась в нее.

Выторговывая избу, Поля сказала Дьякову:

— Петь, ты мне пошел на уступку, как родня, и я тебе пригожусь, помини меня. Случится вернуться — всегда привечу, не откажу в похлебке...

Случилось вернуться, привечен. Сыт, в тепле, но собственная совесть заставляет откланяться за чужие хлеб-соль...

Дьяков вошел в избу первым. На лице Поля он заметил отчужденность. Дело делом, слова словами, а без конца платить и по обету никто не вынесет. Пожил две недельки, отогрелся — пора и честь знать. При всей игре в родню — посторонний в их доме, и ни слова лишнего при нем не сказать, ни в рубахе пройтись перед сном по дому — помалкивая да прикрываясь. А там народ стал поговаривать лишнее: двое полоснули словечком — «зять», «зятчек», а третий добавил: «глиняный». Но, переступив следом порог, притворяя дверь, Николай с ходу оповестил:

— Ну, бабы, радуйтесь. Рабочая сила прибавляется в нашем колхозе. Петр остается!

И разом с лиц домашних сдуло неприветливость, но какое-то мгновение они находились в растерянности. Николай толкнул Дьякова к умывальнику, повел деловой разговор:

— Остаться решил — теперь с устройством надо подумать. При правлении есть комнатенка, да там пол перебирать придется, холодновато будет зимой и шумливо от народа. На квартиру если к кому — плата потребуется.

— Пока, первое время, без платы можно пожить... Хотя у нас, — сказала Поля.

— Придумаем что-нибудь, — Николай сунул в руки Дьякову чистое полотенце. — Погибнуть, брат, не дадим. Хорошему человеку у нас всегда рады.

Николай поднял крышку умывальника, распорядился:

— Воды!

Клава метнулась к ведру, зачерпнула ковшом воду, пронесла, не плеснув, перед Дьяковым, наполнила умывальник.

— Возле правления есть пустой дом. Новый-то, — сказала Поля.

— Фуражом засыпан, — отфыркиваясь, ответил Николай. — Говорил... человек может объявиться... Разве убедишь! Теперь схватятся.

— Вдовы есть, — сказала Поля. — На постой всякая пустит. И денег не потребует.

— Молчи, советчица! — оборвал Николай. — С вдовой спать надо. А потом она от тебя не отвяжется. Были бы они бездетными — куда бы ни шло. У нее двое-трое, да еще пойдут свои. Крутись потом коленчатым валом!

— Спать, спать... Так все и спят!.. — возразила Поля.

— А то! — отрезал Николай, бросив полотенце на веревку над устьем печи. — Кино смотрела? Садись, Петр. Будь как дома! Какое, спрашиваешь? А монах палец отрубил. Забыла? Как не подавался — совратила, нашлась такая. — Николай раскатил по дому смех, сел на коник, спросил: — Там у нас осталось чего-нибудь?

— Есть, есть, — ответила Поля. — Завтракайте. Потом небось к самому отправитесь?

— Сам в районе, — ответил Николай. — Сегодня, Петр, пей-гуляй, никакими делами не загружайся.

Завтракали веселее прежнего. Поля наспех сгадала ко всему яичницу. Появилась на столе и се-ледка из банки, из рассола. Заменяли остывшую картошку. Между делом, словно кстати, Поля намекнула, что Дьяков им свой, что всегда найдет у них поддержку, хотя такую родню теперь и не признают, да и раньше троюродных в церкви венчали.

— Ай замуж захотела? — зацепился Николай. — Давай, напрашивайся. С радостью отдам. И приданое отвалю.

— Проброешься! — ответила Поля.

Клава дружелюбнее поглядывала на Дьякова, улыбаясь, без надобности трогая волосы, поправляла что-то на груди. К своему удивлению, переменялся и сам Дьяков. В нем вдруг проявилось любопытство к Клаве. Он невольно обратил внимание на плавные движения ее рук. В лице Клавы открылись приятные черты: взгляд ее оказался теплым, губы полные, беззубные.

— Все же, — снова заговорила Поля, — погадать на вдову... Об избе голову ломать не надо будет.

— Настаиваешь, как своему, — сказала Клава. — Может, он не хочет жениться.

— До старости бобылем останется? И не настаиваю я — советую. Кому, как не мне, дать совет — мы с ним родные.

— Родные, вот и пряветь, — сказала Клава. Николай отзавтракал первым. Он ел проворно, словно за солдатским столом. Выходя из-за стола, сказал:

— Мне пора. А ты, Петр, не гони шибко, наедайся плотнее, а баб не слушай: они разом с пути собьют.

— Пусть поговорят, — ответил Дьяков, встретив веселый взгляд Клавы, от которого ему вдруг стало неловко, не по себе. Не жил бы у них в доме, не называлась бы Поля родственницей — другое было бы дело...

После завтрака Дьяков сходил в колхозный сад. Сад был в той осенней заброшенности, когда в него

может зайти всяк: по делу и без дела он открыт каждому. Не осталось на яблонях плодов, кто-то срубил на канаве черемуху — на кнотовище ли пришелся прямой с дубинным набалдашником черемуховый побег или кошелочник присмотрел черемуху на обруч!

Яблоневая листва слиплась, зачернела. В вишеннике пахло терпко вишневой смолой, на стволах светились ее наплывы. Дьяков скосырнул кусок, положил в рот. Из высокой травы вдруг поднялся большой коричневоспинный заяц, поскакал через сад на поле. С канавы из зарослей пролился красный цвет ягод шиповника. В конце сада из-под ракит ослепила рябина. С криком встретили его дрозды и заметались по деревьям.

Сад навел осеннюю печаль на Дьякова. И в памяти поднялось вдруг детство. Мать шла за сад сгребать сено. Он семенил ножонками по дороге, держась за ее юбку. Она нагибается, не сходя с дороги, срывает у обочинки землянику, веточками сует ему: «Ешь, постреленок. Увязался тоже». Глаза невольно затуманило слезами. Казалось, все это было вчера, еще можно вернуться...

Дьяков подумал о Клаве. Она заступит ушедшую мать, одарит такими же ласками и заботами. Клава заставила его другим взглядом посмотреть на сад. Деревья разом ожили, травы стали зеленое и в небе пробивалась синь.

Дьяков пересек сад, вышел на бугор, не раздумывая, поспешил назад, в Подзавалово — словно забыл что-то взять с собой, вернулся с пути.

Клава была дома одна. Она обрадовалась Дьякову.

— Наконец-то! Я тут тебя искала. Постирать, что-нибудь починить надо?

— Нет, ничего не требуется, — ответил Дьяков, осматривая дом. — Ты одна?

— Все разошлись. А ты где ходил?

— В колхозный сад забрел. Заяца поднял...

— Там сейчас скучно. Яблоки отрясли, свиньям поварили.

— Свинья любят яблоки? — спросил Дьяков.

— Девать некуда. Вечером обещали кино. Пойдешь?

— С тобой?

— Хоть и со мной. Разве не гожусь?

Клава, красуясь, прошла по дому, спросила:

— Пообедать не хочешь? Рюмочку налью.

— Рано. Отдохну лучше, — ответил Дьяков и прилег на кровать. Клава присела на край, заговорила:

— Наморился? Не надо было куда-то ходить.

— Это от безделья, — ответил Дьяков. — Не знаешь, куда себя деть. И на мягкой постели давно не спал.

— А в городе? — спросила Клава. — Наверное, под шелковыми одеялами угревался?

— Какой там шелк! — ответил Дьяков и, разглядывая потолок, квадраты окрашенной белыми фанеры, сказал: — Ни одного сучка, узора не оставлено на потолке. Бывало, лежишь и читаешь, придумываешь на досках разные картинки.

— А где у вас кровать стояла? — спросила Клава и потеснила его от края. — Прилягу тоже. Можно?

— Еще бы! Ты хозяйка, — ответил Дьяков. — А кровать у нас была рядом с печкой, деревянная. И печка-то не так стояла. Вы тут все перевернули. Окна этого в проулок не было.

— Отец поработал на свой лад, простор навел.

— Да, время все меняет, все. Мне кажется,

здесь и небо другое стало, ниже и темнее. Странно, правда?

Дьяков обнял Клаву. Она потянулась к нему. Показалось, что они связаны воедино много дней и лет, что у них и нет необходимости что-либо уяснить и утверждать. Ему вспомнились чьи-то слова, что время может быть коротким и может быть долгим, теперь этим словам нашлось подтверждение...

Дьякову показалось, что где-то в отдаленности что-то стукнуло. И стукнуло не сейчас, а давно. Но этот стук, лишь дойдя до них, поднял с кровати Клаву. Она метнулась прочь, что-то схватив впопыхах, сделала вид, будто занята каким-то своим делом. Он же не понимал, что произошло, лежал и ждал ее возвращения к нему.

Медленно растворялась дверь. Долго переступала порог Поля. Она вошла, посмотрела на дочь и на него, спросила:

— Вы дома? Нас на обед отпустили, а время-то только двенадцать.

Двенадцать. Когда же наступит вечер? Клава обещала что-то на вечер. Они так долго обнимались! Они определили всю свою дальнейшую жизнь за это время, оставалось лишь прожить до вечера.

— Отец наш не придет, — сказала Поля. — Будем обедать без него.

Был обед. Были свежие щи с пыленком. Попал во щи пыленок. Вначале под топор, в ощиц, потом во щи. После обеда Дьяков снова остался вдвоем с Клавой. Но вторая часть дня покатила быстрее: из школы пришел Сережка, отобедал быстро — куда-то спешил; прошли к свиарнику девчата, позвали Клаву; она переговорила с ними, поручила кому-то заменить ее. Их неудержимо тянуло друг к другу. Но уединиться от мира не удавалось. Почтальонша занесла газеты. И Клава, и Дьяков стали смотреть их. Ее интересовали дела колхозов, Дьяков смотрел отчеты о спортивных соревнованиях. Он не был болельщиком, просто узнавал результаты, да еще читал «Листок народного контроля», подбирая для правонарушений соответствующие статьи уголовного кодекса и сроки тюремного заключения. Он говорил об этом Клаве. Она двинулась его юридическим познаниям, замечала, что ему надо было бы стать прокурором.

Отбросив газеты, Дьяков покрутил приемник, поискал музыку. Передавали «Последние известия».

— Эх, аккордеон бы, — пожалев, сказал Дьяков. — Исполнил бы я для тебя что-нибудь.

— Ай играть умеешь? — спросила Клава.

— Не много, кое-что.

— Не верится что-то, — усомнилась Клава. — Раньше что скрывал? Я тебе добыла бы аккордеон. У нас тут у одних есть. Малый из армии привез, а сам не вернулся...

— Знаю. Видал, — перебил Дьяков. — У Вороновых.

— Где научился-то? — спросила Клава.

— В армии. На гармошке я еще здесь пиликал. А там в кружок пошел.

В сенях скринула дверь. В избу вошла старуха. Она перекрестилась и шепеляво поздоровалась.

— Где мать-то? — спросила она.

— Зачем тебе мать? — спросила Клава.

— Гущицы попросить пришла. Хлебы хочу заместить. Покунной в зубах настроил. Мягкого не привозят. Все как кирпич. — Старуха уселась на лавку и посмотрела на Дьякова.

— А ты что ж это никуда не поступаешь? — спросила старуха. — По молодости без работы сидит ли кто?

Дьяков повернулся к старухе, спросил:

— Вы мне говорите?

— Не ей, знамо дело. Она занята, как видишь, — ответила старуха. — Ты на тракториста шел бы. Они теперь шибко зарабатывают.

— Не гони, бабка Марья. Паробается еще, успеет. Дай человеку осмотреться, — вступилась за Дьякова Клава. — Ты сколько работала?

— Столько, что не перечесть моей работы, — ответила бабка. — На руки посмотри, сама скажешь — не бездельничала. Боль рукам на старость заработала. Теперь-то вам не так.

— Не сидят и теперь, — возразила Клава. — Сколько гущи надо, говори? Налью, да иди себе домой, заменивай хлебы.

— Да уж не спешит. Я завтра только ставить буду. Гущу-то подбить еще надо, — сказала старуха.

Ветром рвануло крышу, охватило деревья. Дьяков подумал о скорых холодах, представил в снегу Подзавалово, округу, застывший льдом пруд. До этой поры неплохо было бы определиться на жизнь, получить какую-нибудь работу, купить валенки. Подумалось, что у хозяев много овец, возможно, и валенки подготовлены. Он не обратил внимания на размер ноги Николая и повел взглядом по дому в поисках какой-нибудь обуви хозяина.

Бабка Марья выдала девку в Зарог. Она стала рассказывать о зяте — зовет ее к себе не назовется, а ей от своего села не оторваться, помереть на родной печке хочется.

— Рано помирать собралась, бабка Марья, — сказала Клава. — На таких-то еще сколько воду возят.

— И-и, девочка...

С одним парнем из Зарога Дьяков служил в армии. Вспомнилась служба, и потянулось одно за другим. Уезжал на похороны матери, дежурный у ворот вслух сказал: «В отпуск. Счастливый. Начет девок, солдат, не теряйся. Никаких не пропускай». Старшина, давая напутствие, поставил по стойке «смирно», намекнул, что за некоторые дела стоило бы не отпускать его домой, чтобы впредь знал...

Старуха получила от Клавы гущу, а все сидела на лавке, словно защемило ее, полупшепотом пытала Клаву о нем, громко рассказывала про свои беды.

— Невестка с вилками лето прожила на моих харчах, а сушки не прислала, как уехала. А сын не может: под каблучком у нее ходит.

— Чем тебе, бабка Марья, грызть сушки? — спросила Клава. — Колбасы, рыбы требовала бы.

— Я этого и хочу — сушки к слову пришлось, — ответила бабка.

У погребца на березу села ворона. Вытягивая шею, каркала, жаловалась на что-то, качаясь на гибкой ветке. Из-за погребца вдруг появился Николай. Он что-то принес и долго упрямывал в погребце. Клава давала знать бабке, что ей пора уходить, что надоела она со своей речью, с сушками да жамками. У старух один разговор: вспоминать обиды на детей, внуков. И вся жизнь стариковская кажется такой несносной, что вызывает удивление, как только могут они доживать до старости, переживать иногда врагов своих...

За ужином разговор снова шел об устройстве Дьякова. Николай с председателем встретился в районе, намекнул ему об этом. Но поговорить обстоятельно не пришлось: председатель спешил в чайную, а Николай бежал на машину.

— Сказал, поглядит. Может и поломаться. Он троих принял. На должности поставил. Полтавские

были. Они деньжонки зашибли и распрощались с ним. Теперь будет осторожнее, но тебя примет. С нашим поручительством... И свой ты, свой, главное.

— Возьмет, — подтвердила Поля. — Народ тоже весь знает его — поддержат.

После ужина Дьяков не остался в доме, решил куда-нибудь сходить. Николай опять сказал: «Гуляй, пока гуляется», засел слушать радио. Поля носоватонала:

— В клуб сходи. И Клавку возьми. А то она из дому не вылезает.

— Я и одна дорогу найду, — загоревшись от смущения, ответила Клава и разом сказала другое: — А может, и вместе. Только не без меня — я провожу его. Он первый раз туда пойдет. Подожди меня, Петр.

Клава бросилась к шкафу одеваться. Дьяков сказал: «На крыльце буду», — вышел на крыльцо и присел на перильце.

К ночи небо расчистилось от туч. Дьякову показалось, что звезд по небу мало, словно они убыли с наступлением осени. И той, утренней звезды, его спутницы, еще не было. Но он знал, что она снова появится в той же стороне, одишет полудугу по краю неба и скроется за горизонтом.

По селу проехал трактор. К клубу прошли ребята. Лаяли собаки. Из избы доносились голоса Поли и Николая. Иногда произносила короткие фразы Клава. Дьяков подумал, что ее напутствуют, чтобы держалась пристойно, чтобы не вышло чего конфузного. От родителей ничего не спрячешь! И коль сомнение в их словах, значит, провидят они истину. Собственный опыт жизни подсказывает им ее. Но все вызывало у него теперь улыбку.

Наконец вышла на крыльцо Клава, воскликнула: — Темень-то, батюшки мои! Петр, ты не ушел? — Здесь. Сколько можно наряжаться! — сказал он.

— Столько, чтобы кому-нибудь понравиться.
— Мне ты без лишних одеваний нравишься.
— Сказал бы раньше.

Она оказалась в руках Дьякова. Сопротивляясь, рассмеялась. За скрипом досок крыльца он разобрал ее шепот:

— Петр, чумовой, нельзя так.
— Почему же?
— Отец выйдет — что тогда?
— Тогда свадьбу придется играть, — сказал Дьяков.

— Нет, пойдем лучше куда-нибудь отсюда. Кино, может быть, посмотрим.

Клава стянула Дьякова с крыльца, взяла под руку, прижалась к нему и, словно в опьянении, не в шаг пошла рядом.

В клубе было многолюдно. Дьяков посмотрел на афишу. Прочитав название кинокартины, сказал Клаве:

— «Хозяин тайги» будет. Мне что-то надоели «хозяева», особенно таежные. Может быть, пройдем мимо?
— Я тоже два раза смотрела, — ответила Клава. — По селу пройдемся, поговорим.
— А за селом не разрешают разговаривать? — спросил Дьяков.

— Кто не разрешает? — удивилась Клава. — Пожалуйста, говори сколько сможешь.

Теперь Дьяков подхватил ее под руку и повел на окраину села. Днем из сада он видел на поле омет. Вот там-то они и наговорятся. Только солома да ветер с темной ночью будут знать про их разговор.

В поле дул осенний, пронизывающий одежду ветер. Зябь не была поднята — поле оставалось под клевер. И к омету сохранился след от машины, свозивших зерно от комбайнов. Клава, прячась от ветра впереди Дьякова, вела его по этому следу.

В затишке Дьяков надергал соломы, сделал логово, завалился, ахнув от удовольствия. Но Клава осталась стоять перед ним.

— Присаживайся. Тут тихо, как в доме.

— Хитрый ты, Петр, завел меня на край света, усаживаешь теперь.

— Чего боишься-то? Или наказ дома получила?

— Без наказа какие родители дочерей в ометы пускают?

— Хороших — пускают.

— А ты сам-то будешь хорошим?

— Лучше ангела.

Клава опустила на солому.

— Видишь, как тут тихо, — сказал Дьяков и обнял ее.

Разговор повела Клава. Она снова спросила, верно ли, что он останется. Может быть, уже передумал или передумает?

— С утра только об этом и говорим, — сказал Дьяков. — Все зависит от председателя. Теперь он мой хозяин. Умный, видать, хозяин. Шли сейчас мимо окон — работает. О всех нас заботится.

— Что за работа газеты читать? — спросила Клава.

— Руководителю нельзя без газет. Он должен все знать, быть в курсе. Газета для него — учебник, букварь, понимаешь?

— А ну их с букварями! — ответила Клава. — Расскажи лучше чего-нибудь... О доме своем ты не жалеешь?

— Нисколько. Я его продал хорошим людям.

— А о чем-нибудь ты жалеешь?

— Жалею, что ты была маленькой, когда я вернулся домой из армии. Я никуда отсюда не уехал бы.

— Правду говоришь?

— А как я могу тебе врать?

Ветер налетал на омет, казалось, толкал в спину, со свистом проносился над живьем, в отдалении катился по дубяку, шумел сухой дубовой листвой. Под разношумье ветра Дьяков заговорил Клаву. Она перестала противиться ему, не высвободилась из его рук и уступила всем его желаниям...

Потом Клава говорила, как вместе будут они уходить на работу, что у них будет своя семья, им отрежут огород, где они насадят всего, только раньше надо будет обсудить, где брать участок.

Дьяков увидел утреннюю звезду, перебил Клаву:

— Смотри, вззошла!

— Кто вззошла? — спросила Клава.

— Звезда... Моя... Понимаешь, утром увидел ее и решил остаться тут. Сегодня утром. Помнишь, я выходил, а ты заворчала там, паразитом назвала?

— Паразит и есть, — сказала Клава. — Завел вот солому мать. На кого я теперь похожа!..

— На Царевну-лягушкуходишь, — ответил Дьяков. — А звезду эту я с детства помню. Теперь она будет наша общая, да?

— Так это же зарница — на заре восходит, — сказала Клава. — Скоро люди начнут просыпаться, надо домой бежать.

У Дьякова было желание остаться в омете на весь день, но пришлось подчиниться Клаве, спешить через поле к селу. У крайнего дома, где уже горел свет, Дьяков остановил Клаву, сказал:

— Что мы несемся? Увидят — и ладно.

— И правда, — согласилась Клава. — Кого бо-
яется-то? Все равно скоро все узнают.

Дьяков беззаботно шел по селу, останавливался в проулках и целовал Клаву. Он не отпустил ее сразу в дом, задержал на крыльце. Она громко и беззаботно смеялась. На ее смех вышла мать. По тому, как она беспшумно прошла через сени, стараясь услышать больше слов из разговора дочери с женихом, медлила показываться на крыльце, было видно, что Поля боится помешать счастьем дочери и не хочет оставить ее без присмотра.

— Гулены, спать-то когда будете? — спросила Поля без укоризны. — Я печку затапливать собралась.

— Вот и хорошо, — подхватила Клава. — Картошка горячая скоро будет. И повкуснее нам чего-нибудь состряпай.

— Будет вам вкусное. Тебе-то на работу — за-
была? — напомнила Клаве мать. — Не спавши-то как будешь?

— Отработаю. Не на весь день работа. Иди. Сейчас мы...

Бабы выходили к колонкам за водой. Поутру отчетливо разносилось звяканье ведер, плеск воды и разговоры. Казалось, будто бабы не видались вечность, так радостны были их возгласы, разговоры о новостях. Куда-то понеслась порожняком грузовая машина, сбившая монотонное гудение доильной установки на коровнике. В доме заговорил Николай, а им все было не расстаться. Поля выставила на крыльцо пустые ведра — и лишь тогда Клава, поцеловав Дьякова, словно на крыльях понеслась за водой.

Дьяков не без удовольствия полюбовался Клавой со стороны, издали. Это он вселил в нее бойкость, наполнил радостью, оживил. Ни земли не чувствует она под ногами, ни тяжести полных ведер в руках, ни усталости от бессонной ночи.

«Умыться сначала, — подумал он и направился в дом. — К начальству надо с чистым рылом идти».

Все могло бы устроиться, как предполагал Дьяков и планировали Николай с Полей, как мечтала Клава, не оказавшись председателем колхоза двойником Николая Николаевича, начальника лабораторий института, где Дьяков работал после армии...

За этот путь, который прошел Дьяков от дома до правления, он столько охватил мыслями, что снова, но теперь по-иному, пропустил перед своим взором все пережитое, порадовался людям, приютившим его, Клаве, доставившей ему самую великую радость, шагнул в даль непрочитого, в не мерянное расстройством, не отмеченное временем. Клава, вернувшись со свиарника, проводила его до соседнего с правлением дома, сказала:

— Ты иди, а я подожду тебя у Кротовых. Сразу потом зайди — скажешь мне.

Правление было новое. Когда Дьяков подошел к нему, то показалось, будто все здание взглянуло на него окнами, словно большими деловыми глазами занятого человека. Медленно приподнялись ресницы, вздернулись брови, и холодный бесстрастный взгляд застыл на нем. И все радостные и возвышенные мысли разом осели в нем, словно стая кричащих воробьев, спугнутая кем-то с осеннего дерева, — разлетелась, рассыпалась и замолкла.

В Подзавалове раньше не было специального правленческого здания. Правление до войны находилось в поповском доме, где при входе, в первой части дома, колхозники в зимнее время получали от

бригадира наряд на работу, у печи оставляли на просушку сбрую; в боковой комнате помещалась библиотека, а вторую половину дома, светлую, занимали председатель и счетовод с учетчиками.

Дом тот каким-то чудом устоял в войну. Все до избенки было сожжено немцами, взорвано при отступлении, а этот уцелел. После оккупации в правленческий дом въехал сельский Совет, впоследствии запродавший его на слом какой-то районной организации. Дьяков помнил, как прибыли машины с людьми — разбирать дом, но на защиту его вышли подзаваловцы, отбили, не дали сломать. В то время в колхоз прислан был новый председатель, со стороны, — он и поселился там. Теперь дом тоже находился во владении председателя — обученный, обсаженный садом, цветами.

При входе в правление за длинными столами, заваленными книгами учета, ведомостями, распоряжениями и прочими исходящими и входящими бумагами, работали счетоводы. В боковом отсеке размещалась бухгалтерия с полной, словно огромный кул с числами, бухгалтершей и ее заместителями. Агронома спарили с зоотехником. Бригадирская, комната механика, зал заседаний и председателский кабинет. Здесь дверь с обшивкой. Дьякову подумалось, что председатель — из людей болезненных, боящийся холодов, простужающийся даже на летних сквознячках.

Помявшись, поправляя одежду (сказалась забывшаяся солдатская манера), сгорбившись, уменьшив рост (скромность от последующего воспитания), Дьяков приотворил дверь, спросил, можно ли войти, и вошел, не поняв, разрешено ли было войти или велели подождать. Дьяков опешил. Перед ним сидел человек — две капли воды с Николаем Николаевичем. Знакомо чужой взгляд встретил его — взгляд исподлобья, черные под густыми бровями глаза. Дьяков понял, хотел выйти, как выходят, когда попадают по ошибке в другой кабинет — не к тому, но задержался, сгреб с головы кепку.

В каких-то чертах лица у председателя было расхождение с Николаем Николаевичем. Казалось, у этого длиннее руки, тоньше и нервнее. У Николая Николаевича в кабинете стоял просторный кожаный диван, мягкие глубокие кресла. Здесь кресел с диваном не было — стояли стулья. Дьякову сразу захотелось сесть: за бессонную ночь устал.

Председатель пересматривал бумажки: одни — небрежно отбрасывая на угол стола, другие — складывая аккуратно, третьи — пряча с какими-то пометками в стол. Он еще раз взглянул на Дьякова, словно заметил особенную черточку в его лице, и, убедившись, что никаких особенностей нет, снова приступил к бумажкам.

— Здравствуйте, — сказал Дьяков, сознавая, что промедлил с приветствием.

Председатель, не взглянув, буркнул неприветливо в ответ, словно кому-то другому, сказал:

— Что случилось?

Николай учил Дьякова за завтраком сразу проситься у председателя на должность электромонтера или механика. Клава давала совет взяться за клуб. Заведует Надька Матюшина — только и умеет замок открыть да закрыть. Но все советы вылетели из памяти, и Дьяков принялся объяснять все длинно и обстоятельно, что после армии он попал в город, работал там, но ему не повезло...

— Я прибыл с Севера. Карелию осваивал...

— От голубых озер, как в песне поется? Веселая страна. — Председатель вытарабил губы, осмысливая какое-то распоряжение.

— Что говорите? — спросил Дьяков, хотя слышал все слова, и поторопился ответить: — А... Нет. Я там временно был...

— А к нам на постоянно?

— Как сказать!.. Я родился тут, вырос. Вам, наверное, Николай говорил обо мне...

— У меня в колхозе только два Ивана, остальные — Николаи. У племенного быка тоже кличка Коля. Короче — к делу. Что тебе надо?

— Работа нужна, и жить чтобы где было.

Дьяков вспотел при объяснении, подумав, что говорит не так, заносит, унижается.

— Дом нужен. А в Сибири-то чем занимался? За что туда попал?

— Не в Сибири, — поправил Дьяков, — на Севере. В Карелии. Да об этом не стоит говорить.

— Это-то меня прежде всего и интересует, — сказал председатель. — А то, что тебе надо остановиться где-то, с девками погулять — не женат ведь? — это мне без рассказа ясно.

При напоминании о девках Дьяков смешался. Его бросило в жар, как будто его застали на месте, где он провел с Клавой эту ночь. Неужели все известно?

Дьяков снова хотел вернуться и уйти, но остался с надеждой, что от «гуляния с девками» председатель перейдет к деловому разговору. Что пытаться — люди нужны позарез.

Председатель выставил над столом руку, словно предлагал погадать ему по линиям ладони.

— Паспорт, — сказал он.

— Паспорт? — Дьяков пустился по карманам: в пальто, в пиджак — слева, справа, по карманам брюк, в кепку под подкладку. — А у меня еще нет паспорта, — осознал он и из наружного нагрудного карманчика пиджака извлек сложенную бумажку: — Справка вот...

Председатель взял справку, взглянул и вернул сразу же.

— Что за дело было? — спросил он.

— А так...

— Так-так, — проговорил председатель и пустил по столу в пляс пальцы обеих рук, — значит, не хочешь вспоминать? — Он сплел пальцы под подбородком, стал смотреть Дьякову в глаза, словно уличил его во лжи. — Ну, и ты считаешь, что теперь от колхоза имеешь право требовать все?

— Я ничего не требую, — ответил Дьяков и показал руки ладонями вверх, сжимая их в кулаки. — У меня вот... руки. Я могу ими все.

— Вижу. Можешь... Мне нужны свинари, — сказал председатель. — Зарплата до двухсот рублей в месяц.

— На пульте дежурить? — спросил Дьяков.

— Нет, не на пульте. Варить, смешивать, разливать, — пояснил председатель. — Потом отгребать, отливать, чистить... Даются резиновые сапоги...

— Совковая лопата, тачка. Малая, так сказать, механизация, — пояснил Дьяков.

— Да, у нас пока малая, — признался председатель. — За малую и зарплата соответственно идет.

— Я кузнецом когда-то работал, — сказал Дьяков, снова показав руки. — Могу плотничать, по электричеству. Что еще? Это... на аккордеоне...

— Есть-есть! Забито! — отрезал председатель. — Гармонистов развелось, а свинарей вот не хватает... В свинари. Идет?

В кабинете вдруг сделалось тихо. За стеной слышалось шуршание бумаги, разговоры о домашних делах, скрип стульев, и что-то просыпалось на пол.

Председатель отложил бумажку и постучал

в стену. Дьякова толкнули дверью. Он посторопился. В кабинет заглянула бухгалтерша.

— Марина, присядь, — сказал председатель, выпрямившись в кресле.

— Вы заняты, — сказала бухгалтерша.

— Ничего, тут пустяковое дело. Ты нужна... — Председатель обратил взгляд на Дьякова: — Ну, так что? В свинари?

Дьяков переступил с ноги на ногу, спросил:

— Можно узнать, сколько вам лет?

— Странный вопрос, — удивился председатель. — Ну, допустим, пятьдесят. Так что?

— А когда вы рассчитываете по-настоящему механизировать свинарник?

— Ах, вот что. Планируется этак лет через двадцать.

— Ну, тогда я к вам и зайду через двадцать лет. С бородой. Вы, надеюсь, узнаете меня?

Бухгалтерша раскрыла рот. Дьяков повернулся и вышел. Ему показалось, что в зале со стульями для заседаний дышать легче и свободнее, а в кабинете душно — надышали так, что муха отравится.

А на улице было тихо и солнечно, словно бабье лето. А может быть, пришло какое-нибудь иное лето: сиротское, вдовье, старческое? Почему бы им не быть в позднюю осеннюю пору?

Из угла коридора под ноги Дьякову метнулся пес, взвизнул от нечаянного ушиба.

— Тут не подают! — буркнул Дьяков псу. — Рыщут всякие!

Пес с поджатым хвостом пустился к соседнему дому, где ждала Дьякова Клава. Дьяков широко шагнул прочь от правления к окраине села, не глядя на дома, на встречных людей.

Клава догнала Дьякова у леса. Он слышал ее голос: кричала, просила подождать, вернуться — не отозвался и не обернулся. Клава, запыхавшаяся, с платком в руке, встала перед ним.

— Петр, куда ты? Что он тебе сказал?

Дьяков посмотрел на Клаву, ответил:

— Сказал, что я с тобой в омете был.

— Он выдал нас! — ужаснулась Клава.

— А в ногах стоял.

— Нет, ты шутишь. Скажи, шутишь?

Дьяков взглядом заставил Клаву остановиться, пошел вперед.

— Петр, а что о деле-то? Подожди же! Куда ты?

Клава гналась за Дьяковым, схватив его за руку. В его походке было упрямство. Клава преданно следовала рядом, чуть отставая, упрашивала расказать ей обо всем по порядку.

— Сена на лугу нет? — спросил он.

— Откуда оно! Тут одни колючки теперь, как коров стали стеречь. Ни одного лужочка не осталось.

— Ни одного, — с пренебрежением протянул Дьяков. — Окажись бездомный — укрыться не в чем, ночь застанет.

— У леса омет зеленки, — подсказала Клава. — Тебе домой идти не хочется? Не пойдем. Побудем на поле...

Зайдя с Дьяковым в зеленку, Клава принялась тормошить его, заставляя плюнуть на все на свете. Председатель на ее памяти у них десятый. И этот метит уйти, подкупит денег — и в родные края. А они останутся тут навек, на всю жизнь. На свинарнике — временно можно побить. Она работает — не слиняла от этого. Главное — их любовь. Свой дом и любовь...

Дьяков, лишь взошел на опушку, взглянул налево и направо: луговой овраг тянулся вдаль, уходил к соседней деревне. По нему стекали ливневые и полые воды. За деревней шел большак на станцию. И этот путь притягивал мысли Дьякова, отвлекал его от Клавы. Балкой влево можно уйти в ту же сторону, к станции, а от станции путь на юг и на север. Он устремился по тому пути, и Клава мешала ему руками, телом. Он отстранился от нее и не понимал, почему она не оставит его, не уйдет...

В сумерках они вернулись домой, зашли с поля через огород. В саду какая-то крупная темная птица перелетала с дерева на дерево, не могла устроиться на ночлег. Казалось, что она натывается на деревья, словно слепая. Клава шла молча, и Дьякову стало легче.

Николай и Поля были озабочены их долгим отсутствием.

— Ну вот, наконец-то явились, — облегченно вздохнув, произнесла Поля. — Скрылись не сказавшись, а тут голову ломай. Хотели розыск устраивать.

— Да, надо прекратить такие прогулки, — сказал Николай. — В чем, Петр, дело? Что ты там ляпнул?

— Председателю? — спросил Дьяков. — Ничего особенного. Поговорили о механизации и разошлись.

— Ах, умник-разумник! — воскликнул Николай, хлопнув ладонями себя по ляжкам и подпрыгнув по-петушиному. — Кто тебя учил с требованиями к нему подходить? Проситься надо было, проситься! Понял?

— Это, Николай... — Дьяков осекся, вспомнив председателю: «У племенного быка тоже кличка Коля». — Я его, Николай Иванович, облизал с ног до головы, как еще можно просить?

— Улыбаешься, шутишь. Ты сам себе подножку подставляешь. — Николай зашагал по дому, отшвырнул ногой набросившегося играть котенка. — Что теперь делать? С какой стороны подходить? Он и слова не захотел выслушать... Взрослый, на стороне побывал, а не знает, как с начальством разговаривать, не научился.

— Может быть, мне сходить к нему? — робко проговорила Поля.

— Сиди ты, ходок! Одна такая пошла — да семь лет как назад нет. Давайте ужин! Чего растопырившись?

После ужина Николай надел выходной костюм, новый плащ и ушел к председателю на дом, сказав, что на дому он поддается на уговоры скорее, прищипет подходящее дело. Дьяков, как и в прошлый вечер, выбрался на крыльцо, и вскоре к нему вышла Клава.

— Отец добьется своего, — сказала она. — Не вздыхай.

— Не стоило бы ходить, кланяться, — ответил Дьяков.

— Как это не стоило бы? А куда же ты денешься? — встревожилась Клава. — Ты что, опять на дороге поглядываешь?

— Я за дорогу смотрю, на погреб, — пошутил Дьяков.

— Чего ты там не видал? — не поняла Клава шутки. — Смотри, на руку капнуло. Опять дождь?

— Ты разве не заметила, мы еще в сад вошли — моросить начало?

— Заметить тут с тобой! — ответила Клава. — А по такой погоде, правда, только на погреб и отсиживаться. Подожди, я налегке выскочила — что-нибудь накину, вернусь.

— А я в пальто, — остановил ее Дьяков, укрывая полый. — Там мать снова отчитывать станет...

Они перешли дорогу и укрылись на погреб. Дьяков разворошил, разровнял сено и раскинул пальто.

— Ложись, — сказал он Клаве. — Вот где рай! А мы ходили куда-то, меряли столько. — Он положил под голову руки, попросил: — Давай помолчим, послушаем немного?

— Молчи, — ответила Клава. — Не на все время только замолкай.

Под ними похрустывало, оседая, сено. Кто-то протопал шустро за погребом — верно, пробежал по своим собачьим делам пес. Легла ночь, затихли люди, началась ночная жизнь. Не всем отдых, сон. Ветерком качнуло ветви раки — осыпало на шалаш капли.

— Непогода заходит, — вздохнула Клава. — Как полет, грязь наделает — ужас!

Шум за погребом напомнил Дьякову осень в Карелии. Теперь казалось, что там за долгое время ни разу не было лета: вечная осенняя распутица, холода, работа при любой погоде...

Клава принялась рассказывать, как двое сватались за нее, а она дала им отказ, словно сердцем чувствовала, что должен явиться он. Ребята были ничего, на других поженались, но ей они не нравились. Однажды за нее была драка — городские убрали свеклу, с деревенскими сцепились.

Дьякова подмывало спросить у Клавы, кто же оказался победителем в драке и получил от нее за это награду, но лень было затевать разговор.

— Петро, а в городе, наверное, всегда хорошо? — спросила Клава, поживившись от стужи. — Я только раз в Москве побывала, пальто покупали когда.

— Хорошо, — отозвался Дьяков. — Свободнее на транспорте...

— Злодей! — Клава поколотила Дьякова по груди. — Знаешь, под твоей одеждой не согреться. Я сбегая за одеялом?

— А мать разрешит?

— Как-нибудь выпрошу, — ответила Клава и ушла в дом.

Дьякову вспомнился отъезд из Подзавалова. Соседи провожали его, жалея и наполевуя. Все говорили, что в селе ему тоже не жизнь, одиночество нет резона, а город примет, выведет в люди. Провожал его тогда и дядя, приехал со старухой за одиннадцать километров. Теперь, вернувшись, Дьяков направился сразу в дядину деревню, хотел остановиться у него, но избу не нашел, лишь кусты да камни от фундамента уцелели. Дядя умер, а тетку забрала в Тулу дочь...

Клава вернулась с полной постелью, осветила Дьякова фонарем, ослепила.

— Поднимайся. По-барски настелю тебе.

— Свет отверни, — попросил Дьяков.

— Света только жулики боятся.

— Глаза режет.

— Ах, бедный мой! Совсем ты нежный... А на улице-то бесперебойный пошел. Пока мы тут лежали, воды набралось в коленях... Отца еще нет. Я сказала, что мы тут, пускай покричит, о чем договорится.

— Утром узнали бы.

— Ничего, покричит, — ответила Клава.

От чистой постели пахло водой, улицей. Ровный шум дождя занял все, затопил все другие звуки, остановил движение.

— Хорошо тут, правда? — спросила Клава шепотом.

— Очень. Никуда не двинулся бы отсюда.

— Тебе спать не хочется? Мне так нисколько. Расскажи что-нибудь, — попросила Клава.

— О чем рассказывать? Что знал — забылось давно.

— Ну, как ты уехал отсюда.

— Это уже преданием стало... Снег тут у нас был. Прудокобы на станцию ехали — довели... Как в вагон сел, не помню. Нагулялся по Москве. Рабочие везде требовались, а общежития не нашлось. Ночевал несколько ночей на вокзалах, потом на Ленинград подался. Вечером селся. Поезд был со всеми останковками. Спал плохо. Помнится, ребенок еще орал. Напротив в купе ехали двое, лейтенантик со своей женой. Молодые. Так эта фифа скрипела зубами, грозилась, гоняла мужа жаловаться проводнице... А малыш взял одну ноту и не слез с нее...

— Беденький, — вздохнула Клава, — Животик, наверно, болел.

— Что, у него, кроме животика, болеть нечему было? — спросил Дьяков. — Душа у него не могла болеть? Мать везет его, крошечного такого, от дома, вагон качается, стучит, люди орут вокруг. Тут у взрослого душа лопнет. А у него-то она с просыпаное зернышко.

— Душа. Чудак ты, Петр! Да какая у ребенка душа? В газете писали...

— Спасибо. Не просвещай, — перебил Дьяков. — У ребенка нет души, у солдата, у работника... не говоря о других. У кого же она тогда? Все бездушные, выходит?

— Я не сама выдумала. Писали...

— И еще будут писать. Только как было в нас что-то, что управляет нами, особенно чувствами нашими распоряжается, так и будет. Вот у тебя не бывает такого желания: взять и побежать вдруг ни с того ни с сего? Или радость с чего-то нападает. А то так заболит внутри, такая тоска навалится...

— А ты когда в Ленинград приехал, тебе радостно было? — спросила Клава.

— Радостно. Даже очень! Я когда вышел из вокзала — передо мной вся площадь, все дома сиреневые. Снегу — как не бывало. Туман. Я разом и прирос душой к этому городу, понял, что тут все наладится, будет хорошо...

— Весна, что ль, была, когда поехал? — спросила Клава.

— Говорил же тебе, что в декабре дело было. Там-то не было снега. Туман стоял, сиреневый-сиреневый. Позже сколько ни смотрел, не видал такого цвета.

— Говоришь, угадал, что хорошо тебе будет, а что хорошего, когда в Карелию попал?

— Ну, это случай особый. А в Ленинграде мне везло с первого дня...

Дьяков рассказал Клаве, как сразу попал он к хорошим людям. В армии был у него друг, призванный годом позже. К его родителям он и направился. Отец был профессором, мать — переводчицей. Рассказ получался долгий. Клава затихла. Дьякова одолевала дрема. Он думал, что Клава давно спит, замолк.

— Ты чего остановился? — спросила Клава. — Рассказывай дальше — интересно так.

Дьяков встряхнулся, свалил с себя тяжесть думы, сказал:

— Все, будем спать.

В эту ночь Дьякова не дожимал кашель. Ему было тепло от сена и согревала Клава.

Потом стало жарко, он проснулся и вспомнил, что с вечера рассказывал Клаве о Ленинграде. Шел ей что-то в полусне.

На улице было темно. Дождь остановился. Ветер в разных местах пробегал по деревьям, уносился за пруд, к колхозному саду.

Клава вздрагивала и хваталась за Дьякова, словно его уводили от нее, отнимали, что-то сонно говорила. И сразу руки ее ослабевали, тяжелели. Кто-то прогромыхал в телеге: то ли куда-то уезжал из Подзавалова, то ли приехал или оказался проездом. На пруду всполошились утки.

Прошло много лет, а все осталось по-прежнему. Пруд, утки... Петухи распевают, ветер тот же — шумит одними ветвями; тот же запах сена, те же погребки с картошкой, соленьями. Только люди сменились.

— Петька, — вдруг вскрикнула Клава, — что же мы спим!

— А что нам делать? — спросил он.

— Ты не спишь? Не слышно было, меня не кричали свинарки?

— Тихо пока было. Проехал только кто-то.

— Где-то фонарь, посмотреть бы на часы.

Клава осветила на часы.

— Четвертый пошел. — Она зевнула. — Еще часика полтора можно повалиться. А ты что? Скучаешь без сна? Может, есть захотел? Ночью, когда не спишь, почему-то аппетит разгуливается. Сбегаю принесу чего-нибудь.

— А в погребе ничего съестного нет? — спросил Дьяков.

— Как же нет! Да тут все найдется. Сейчас я тебя и напою и накормлю. Тут и кружка есть. Отец рассол капустный шлет.

— Вот и мне рассольчику, — попросил Дьяков.

— Лежи. Сейчас я спущусь.

— Помогу, — вызвался Дьяков.

— Чего мне помогать! Не кадушку с капустой поднимать буду.

Клава придвинула к постели ящик, наставила на него еду, питье.

— Петя, ты спишь с махотки сливки да поцелуй меня такими губами, чтобы я тебя на всю-всю жизнь запомнила.

— И больше не будем целоваться?

— Все равно будем, только сперва так.

За ширшевом Дьяков прослезился...

— Паразит ты мой, паразит, чего же ты плачешь? Или меня замуж брать лень? Да ты же у меня будешь ходить министром. Я тебе двадцать нейлонок куплю.

— Я не о том. Время жаль. Время куда-то ушло. Мне на четвертый десяток перевалило.

— Ой, ну и глупый ты, Петька! И не Петька ты, а настоящий петух. Дурачок у нас был. Петухом его всегда звали. Тот только смеялся все время. Ох уж и колотили его за это! Свинарник у нас загорелся, а он прыгает, хлопает себя по ляжкам и гогочет.

— Помню я его мальчишкой. Издевались над ним всячески, — сказал Дьяков.

— А какое время-то тебе жалко? Не то ли, что отбывал в Карелии, а твою зазнобу завлекли? А, Петр?

— Зазнобу при мне завлекли, — ответил Дьяков. — Да какая зазноба — так, девчонка.

— Они все девчонками бывают... Вот, оказывается, ты какой.

Клава обиделась. Дьяков принялся ее утешать, пригрозил, что никогда больше ни о чем не рас-

скажет. Она всгряхнулась — разом не стало слез, проговорила:

— Ты не обращай на меня внимания. Это оттого, что я бабой становлюсь. Мне кажется, что тебя все от меня отнимают. Те, кого ты знал раньше, вернутся, найдут тебя, и я одна останусь.

Через щели пробился на погреб утренний свет. Клава приотворила дверь, выглянула на улицу.

— Из трубы дым валит вовсю. Печка топится, — сказала она. — Все уже работают, а мы с тобой гуляем.

— На свинарник опоздала? — спросил Дьяков.

— Матушка за меня сходилла. Она бережет меня.

После пирушки Клава ушла от Дьякова. Он поднялся, съел оставшуюся капусту, лег и снова стал вспоминать город. Воспоминания наваливались безразборно, кучей. Вспомнилась сразу «зазноба» — техник лаборатории Николая Николаевича Люда Коровина. Вспомнилась кузнечный цех с огромным прессом и молотом, печи. Приход в этот цех, в кузнецы.

Профессор Альфред Евгеньевич звал в Гипрохим, назначил встречу, прождал его лишний час. Профессорский час, потраченный на кузнеца... А он тогда покати в Петродворец, махнул на эту встречу рукой, за что вечером получил выговор. «Вы не обязательный человек, разболтанный, — сказал Альфред Евгеньевич. — Вы можете меня подвести в более серьезном деле». И покати Дьяков по городу, прочитывая на заборах различные объявления, пока не набрел на приглашение в молотобойцы. Разом оформился и после этого ушел из профессорского дома. Однажды после работы сел в электричку на Балтийском вокзале, вышел на Можайской, осмотрелся, а потом нашел вблизи дом с комнатой под крышей, снял и стал жить самостоятельно...

Люда приносила заказы на измельчение алюминиевых чушек для переплава в индукционных печах, потом ковали алюминий и разные сплавы. В перерывах Дьяков помогал Люде носить металл, потом стал ходить с ней в кино, влюбился в нее навечно и строил планы семейной жизни. Люда и теперь виделась ему в образе майского утра, когда цветут ракиты. Свет, птичье разноголосье, тепло исходило от ее взгляда и голоса.

Лаборатория Николая Николаевича вела работы по цветным сплавам, различным лигатурам. Инженерный состав и технический — женщины. Николай Николаевич всегда находился в их окружении, словно петух с курами разгуливал по цехам, по другим лабораториям и по территории института. Он руководил аспирантками, дипломантками, сам вел большую научную работу. Его портрет не сходил с институтской Доски почета. Он входил в различные комиссии, выступал по местному радио. Его лаборатория была связана по работе с московскими институтами, с различными заводами страны. Николаю Николаевичу часто приходилось ездить в командировки, он увозил с собой то аспирантку, то техника...

Люда приходила в лабораторию на час позже Дьякова. В цеху вовсю пылали нагревательные печи, шла работа, но Дьяков находил время — встречал Люду на пути и провожал ее до подъезда лаборатории.

Однажды Люда не пришла на работу. Дьяков сходил в лабораторию, спросил, почему ее нет на месте, не заболела ли. Ему не отвечали, словно от занятости все переглохли. Лишь один из лабораторных плавильщиков, играя в обед с цеховыми рабочими в домино, пошутил над Дьяковым, что

его Людку пьезели в Москву, сам Николай Николаевич повез. Он каждую туда возит...

В электричках, идущих от Гатчины, всегда бывало полным-полно рабочих. Дьяков забивался в тамбур, протискивался в вагон от курильщиков, стоя, качаясь, сжатый со всех сторон, ехал к вокзалу, потом добирался до института. В пути он придумывал муть Николаю Николаевичу. Он видел его лицо, примеривался, куда ударить, — в подглазье, в скулу, в висок, в ухо. Наконец он стал размахивать руками, делать заметные для посторонних движения. Скоро понял, что с ним происходит неладное, старался не думать о мести.

Через две недели первым встретился ему Николай Николаевич. Тот взглянул на Дьякова, ожидая, что кузнец, как всегда, первым поздоровается с ним, сам кивнул и, удивившись, что ему не ответили, отойдя, оглянулся. Дьяков стоял со сведенным в злобе лицом. Если бы Николай Николаевич вернулся и сказал, что там ничего не произошло, что он может оставаться спокойным, Дьяков не поверил бы его словам.

В тот же день появилась в институте Люда, но она не подошла к нему, не заговорила, как бывало раньше. Когда он встретился с ней, заговорил, Люда удивилась: чего он пристаёт, словно у него на нее есть право...

Дьяков не простил Николаю Николаевичу поездки с Людой, отомстил потом.

Дьяков уснул. Утренние сны бывают полны сновидений. Ему приснилась весна, цветение садов и, что чаще всего снилось всегда, приснилась Люда. Она куда-то его пыталась увести, но он отстранялся от нее. На месте Люды вдруг оказалась Клава. Она схватила его за руку и увлекла под гору, в овраг. Разбежавшись, они упали на склоне...

Дьяков проснулся. У его ног сидела Клава, словно страж, охранявший его покой. Клава любовалась им, рассмотрела на его лице все до черточка, до морщинки. Белый шрам под левым ухом слегка портил лицо, но в нем была какая-то значимость, мета. Она сочла, что этот шрам — только для нее. Ей на него смотреть всю жизнь, любоваться, представлять, какой была рана, гадать, кем она была нанесена, за что. Она решила не спрашивать об этом, чтобы что-то в нем оставалось для нее загадкой.

— Ох и люблю же я тебя, Петр! — произнесла Клава, клоня в колени голову. — Со мной, наверное, какая-нибудь беда приключится от этого. Сердце разорвется...

— Перестань, что ты еще выдумываешь! — сказал Дьяков.

— Ты не понимаешь, как я тебя люблю. Во мне каждая жилочка изнывает от этого. Я в дом вошла, а мать мне: «Ну, девка, никому на глаза не показывайся, отсидись дома. Он весь на твоём лице отпечатан, как от раскаленного утюга на скатерти след. Разом сплетни пойдут».

— Чего вы боитесь сплетен? Зря не скажут.

— А ты знаешь, отец-то пока ни о чем не договорился. Председатель сказал ему, что он и на зиму и на лето наприимал щеккинских пенсионеров с шахт. Там рано мужиков с работы списывают.

— Ну и... — Дьяков выругался, перевернул книзу лицом. — Без него найдется работа.

— Да ты не спеш. Отец своего добьется. Не сегодня завтра, а будет по его.

— Скажи, чтобы не унижался. Пусть пошлет его подальше.

— Вот и расстроился. Дура, сказала тебе. Спи лучше. Или давай сходим куда-нибудь. Мать говорила — в лес прогуляться, дров каких насшибать. Ты не пойдешь? А вообще-то — ну ее с дровами! Отдыхай.

— Нет-нет, сходим в лес, — согласился Дьяков. — Надо отработать за съеденное. Прогуляемся хотя.

Поля дала в лес отцовский топор, из трех — лучший. Топор ловко сидел на топорнице, был острый, словно им никто не пользовался. Дьяков нес в руке топор, чувствовал от этого большую причастность к Подзавалову, к окрестным полям и перелескам. Он шел в задумчивости. Определенных мыслей в голове не было. Радовали взор зелена, а вдали, впереди и по сторонам, казалось, темнел огромный ветхий сарай, вернее, на покосившихся столбах держалась прохудившаяся крыша, а плетневые стены рухнули, обвалились. Из деревни к лесу, ныряя, летели сороки: вниз-вверх, вниз-вверх, в отдалении одна от другой. Есть деревья в лесу, на которые они сядут, наверное, знают уже эти деревья, летят прямо на них. Какая осторожная птица! Не увидишь ее подобной, как галку или голубя, ошипанной, зарпашившей. Неслышно ступала Клава, успевала за ним. Он вспомнил, что надо уменьшить шаг, пошел тише.

— Догадался, — сказала она. — Я думала — куда его несет? Или решил весь дубняк подчистить?

— Поработаем, — ответил Дьяков. — Отдохнул, сила скопилась.

— На что другое побереги силу! У нас дров наготовлено на две зимы... Петр, ты сейчас, когда молчал, о чем думал?

— Обо всем разом, — ответил он. — Что виделось, то и в голове было. А что?

— Да я все об одном: чтобы ты не расстраивался. Живи да живи у нас. Бригадиру подопрет — даст и тебе наряд.

— Посмотрим. Тебе очень хочется, чтобы я остался? — спросил он.

— Он еще спрашивает! Теперь, если что случится, я не знаю, как потом буду одна, без тебя... Вот, скажешь, дура, сама признается.

— Ничего я не скажу, — ответил Дьяков. — Давай помолчим. Так тихо — не хочется разговаривать.

— Кроешься? Ты скажи прямо все, что думаешь обо мне.

— Отстань. — Дьяков зашагал широко, быстро. В войну и послевоенные годы дубняк по склону от Подзавалова был вырублен. Но новые побеги поднялись высоко, набрали силу. Дьяков направился в эту дубовую поросль.

— Петр, никак ты решил молодняку нарубить? За него ругаться станут, если увидят, — предупредила Клава.

— Оштрафуют — не расплатитесь, что ль?

— Расплатимся. Но лучше без штрафов. Деньги не так взять — зарабатывать, трудом копились. — Тогда постараемся их сохранить. Посмотрим, нет ли пней. Тут высоко рубили дубы, я помню.

От многих пней поднимались стройные побеги. Пень переходил в нижнюю часть дерева, в комель. Дьяков подумал, что со временем, когда молодняк подрастет, будет много поделок для саней. Тут можно и теперь подобрать полозья для салазок и легких санок. Только есть ли в них теперь нужда?

— Клава, а где вы на зиму дрова берете? — спросил Дьяков.

— Выписываем. И в других местах подрубам. Осенью трактористы куда угодно скатают. Не по грязи, а когда подморозит, — объяснила Клава. — Березку пилят. Тут у нас объявили, что она вредная, мешает дубу расти. Под эту марку ее и сводят.

— Какой умный народ пошел! — удивился Дьяков. — Веками березка не приносила никому вреда, песни о ней складывались, а тут вредной оказалась.

— Да от них ничего не растет. У нас в саду стояла — кругом травы почти не было никогда. Спилили. По всей округе их повалили.

— Давайте, давайте. То-то я смотрю — чего-то мне не хватает в Подзавалове. Никак не мог понять. А теперь ясно. В колхозном саду на канаве ряд берез был...

Дьяков принялся сбивать старые пни. Работал он размашисто, горячо, разделся до рубахи. Клава не успевала сносить на опушку пни. Она двигалась медленно: не отвести было взгляда от Петра, впервые в деле видела его — думы набегали, как-то сладится их свадьба, каким руслом потечет жизнь; за этим виделся такой необжитой простор, что мысли не достигали его края. Однако к полудню на опушке было несколько куч пней. Дьяков намозолил ладони, Клава устала, что видно было по горящим щекам, разбившимся волосам и тяжелому дыханию. Но она не просила отдыха, словно потеряла речь.

— Наверное, на сегодня хватят? — спросил Дьяков, выйдя на опушку. — Все нам не собрать. А завтра еще будет день.

— Куда их! — ответила Клава. — Матери еще могут не понравиться.

— Дубовые же.

— Коряжистые. В печку не посадишь.

— Подрубить, обколоть — пойдут. Жару зато будет много.

— Куда он! Теперь хлеб не печем. К праздникам если. — Она остановила взгляд на Дьякове. — На свадьбу пригодятся готовить обед. Будем справлять-то?

— Ты спешить?

— А чего тянуть-то будем? Придется все налаживать — время дорого, — ответила Клава.

Дьяков не вынес ее взгляда, сказал на сторону: — Повремени. Свадьбы больше зимой справляются. В санях-то будем кататься?

— А куда нам? Ах, в сельсовет, записываться? Ну, уж туда-то скатаем! Машину председатель дает. Позапрошлый год две свадьбы было в один день. Бульдозером дорогу чистили.

— Мне не будет машины, и лошадь не даст, — сказал Дьяков.

— Отец возьмет.

— Все и будем за счет отца выезжать?! — возразил Дьяков. — Надо самому добиваться, хватит за друзьями, хозяином, родителями крыться, паразитничать. Всю жизнь на чужих хлебах...

— Кормят — значит, есть чем кормить. Не будет чем — с тебя попросят, — сказала Клава.

— Уже начинают спрашивать. Ты вот требуешь взять тебя замуж.

— В иждивенках не буду, — ответила Клава. — Еще тебя смогу прокормить. Теперь и так бывает: бабы и свое хозяйство держат и на колхоз работают.

— О твоём отце этого не скажешь, — возразил Дьяков.

Они возвращались домой по тому же пути — шли медленно, отдыхая от большой работы. День клонился к вечеру. Снова от деревни к лесу летели сороки с воронами, тянулись на ночлег к лесному

безлюдью. Отовсюду исходила тишина. И шуршание травы под ногами казалось лишним звуком. Дьяков шел за Клавой. Она была в куртке и лыжных брюках, шла в думах о чем-то, тихая и спокойная.

Дьякову вдруг подумалось, что, возможно, она уже понесла от него, зачала, оттого и сошло на нее степенство, умиротворенность и довольство.

— Клава, постой,— сказал Дьяков.

Они через одонья вышли на огород. Клава остановилась и обернулась к Дьякову. Ее лицо горело, выдавая молодое здоровье. Он обнял ее, поцеловал, с поцелуем проникая в нее, передавая ласку и любовь другому существу.

— На людях целоваться надумал,— сказала Клава, оглядывая сад.

— Не для людей,— ответил Дьяков.— Волна такая накатила, не сдержаться.

Дьяков взглянул на сад. Темная женская фигура отошла от калитки, между вишен направилась к дому. Поля, видимо, поджидала их и оказалась невольной свидетельницей их поцелуя. Чтобы не вызывать у молодых смущения, она решила удалиться.

— Мать была в саду,— сказал Дьяков.

— Мать-то ладно. Матери полезно видеть, как ее дочь целуют, не будет сомневаться, любят ли.

— Теперь успокоится? — спросил Дьяков.

— Ну уж! Ей надо, чтобы мы в сельсовет поехали, расписались бы...

— Я начинаю думать, что этого больше всех хочется тебе самой.

— И самой хочется. Чего скрывать,— ответила Клава и повернула к дому.— Яблоко перезреет, само отваливается...

На второй день Николай явился с подводой и позвал Полю за пнями. Дьяков порывался в лес сам, хотел прокатиться в телеге вместе с Клавой, но получил отказ.

— Мне тоже бабу проветрить нужно,— сказал Николай.— От печки засалилась, сажей пахнет. И лес давно не видала.

Дьяков остался с Клавой. Брат ее после школы наелся и ушел из дому. Дьяков прилег на Клавину кровать, подложил руки под голову. Наверное, скоро придется спать на этой кровати вдвоем, при всех раздеваться, укладываться, потом слушать, когда уснут старики; тьма и сон отделят их, дадут возможность обниматься.

Клава куда-то ненадолго сходила — судя по стуку в сенях, была, видимо, в чулане. Она вернулась с клубком пряжи, нашла спицы и потребовала от Дьякова:

— Петр, покажи мне твою ногу.

— Зачем? — спросил он.— Полюбоваться? Так они у меня некрасивые. Сорок третий размер.

— Мерку возьму. Носочки тебе свяжу. А то скоро снег выпадет.

— А расплачиваться чем буду? — спросил Дьяков.

— Молчи,— ответила Клава, принялась обматывать ногу Дьякова.

Клава присела на край кровати — и спицы засперкали в ее руках. На пол сбежал с печи котенок, принялся играть с клубком. Набирая петли, Клава вела счет. Дьяков смотрел на ее припухшие губы и представлял, что делает с ее молодым лицом время, как утончатся губы, вытянутся, сделав ее большебертой; сойдет припухлость с надбровий, вытянется нос и опадут щеки; ленивый станет взор — все огрубеет, пойдет на старость.

— Брысь! — крикнула Клава на котенка и спросила: — Петр, а вам давали там носки?

— Давали,— ответил Дьяков.— Из гусиного пуха.

— Не ври. А в Ленинграде ты как обходился с носками?

— Без носков ходил.

— А чего ж, некому было связать?

Дьяков посмотрел в окно, содрогнулся от вида мокрого снега. Нет ничего хуже такой погоды: и мокнешь, и замерзаешь, и какая-то несносная тяжесть сковывает всего. Самой страшной бывает такая погода на севере, если не обзаведешься теплой одеждой, не привык, не приспособился, а прислать варежки с носками, шарф некому.

Мокрый снег переходил в дождь. Обмывало снова забелевшую траву, зелень и язбь. Председатель уехал на двухнедельные сборы в область. Дьяков затосковал от безделья и неустроенности. Он днями отлеживался то в доме, то в сене на погребке. Клава стала допекать его вопросами, надоедать.

Однажды под вечер, по непогоде, когда в доме никого не было, Дьяков оделся во все свое, в чем приехал в Подзавалово, кинул через плечо за спину рюкзак, оглядевшись, нырнул в сад, прошел через огород в одонья и, сделав обход, лугом вышел на дорогу к городу. Он знал, что там на одной из станций строился сахарный завод, где его примут в строители без лишних слов.

Никто не заметил ухода Дьякова. Клава, не найдя его в доме и на погребке, обошла Подзавалово, потом взглянула в чулане на крюк, на котором висел рюкзак, заплакала, ругая себя за бабскую простоту, за доверчивость...

А через три дня Клаве пришло от Дьякова письмо. Опуская его, он думал, что письмо составлено из холодных слов, что этими словами остудит распаленное Клавину сердце, что она утихнет в своей любви к нему и разлюбит его. Он писал:

«Клава, я скучаю по всей тебе третий день, но чувствую, что уже начинает проходить. Я ненавижу эту скуку, как, наверное, ненавидят некоторые мужа своих жен, от которых не уйти и не вытолкнуть их от себя. Но мне это понятно. Я попал в общежитие. Комната на шестнадцать человек. Народ разный. Разные все по мордам больше, а по грамотности все одинаковы. Стекла в окнах перебиты. Койки узкие и скрипучие. Нам вдвоем на такую не улежся.

Говорят, что Магнитогорск с Комсомольском-на-Амуре строили — хуже еще было. Это нас вдохновляют на трудовые подвиги.

Принят я был сразу. Начальник строительства нарвался на меня — с кем-то он меня спутал, стал материть, что я болтаюсь, а там бетон схватывается, разбежался все раньше времени по деревьям на выходной. Он и не смутился, что не за того меня принял...

Да, Клава, грязь тут по уши. Машины тракторами вытягивают. Но сахарный завод для вас будет. Растите больше свеклы, не ленитесь. Потому я тебя и не зову сюда. Живи там, где живешь. Как говорят, где родился, там и сгодился.

Тут говорят, что когда построят завод, то настроят и домов. Деревенские уже записываются в рабочие семьями и поступают на разные курсы, чтобы сразу стать рабочими и получить квартиры. Меня это мало беспокоит. Я поеду потом где-нибудь новый завод строить.

Поставили меня трамбовать бетон. От вибратора кости расстрескиваются и раскачиваются зубы, на-

верное, и волосы выпадают. Если я на такой работе год пробуду, ты и видеть меня не захочешь.

Вчера вечером выпросил у начальника аванс. Когда я был у него в кабинете, мимо окна пролез пьяный с гармошкой. Я улыбнулся. Он играл одну песню, а получалось полурра.

— Разбираешься, Дьяков, в музыке? — спросил начальник.

Я признался, что на аккордеоне могу кое-что исполнять. Он аж подскочил. У него некому веселить баб, словом, строителей, и я для него настоящий клад. Он пообещал добыть мне аккордеон и перевести в воспитатели, только чтобы я танцы организовывал, а пока я вкальваю на бетоне. Он холодный сейчас, ноги стынут. Один мужик обещал мне шерстяные портянки устроить, у него от деда онучи остались...»

Опуская письмо в почтовый ящик, Дьяков колебался, стоит ли его отправлять. Не знает Клава, где он пристрал, скорее забудет, как забыла кого-то, с кем зналась до него; но все же отправил, что написалось. После того он постоял у почтового ящика. Ему представилось Подзавалово с мокрыми деревьями, домами и грязной дорогой, вспомнился погреб и показалось, что там теперь холодно, да и тогда было холодно и сыро, хотя он этого не замечал. Клава под вечер и по утрам смотрит на дорогу, ждет его. Так она получит письмо, не зная, от кого оно и радоваться ли ему. Она спрячет письмо за пазуху, укроется от людских глаз, булавкой или шпилькой расклет конверт. Она догадывается, от кого письмо, расслабленная, с замиранием сердца в ожидании добрых вестей начинает читать: «Клава...»

Он нарочно написал «Клава». В таком случае грубость помогает. Она будет искать сразу: «Приезжай», пробежит глазами письмо, но такого слова не найдет, а если и увидит намек, то бедовать к нему она не поедет.

Он направился к общежитию. Мужики будут есть картошку с хлебом и салом, с солеными огурцами и помидорами. К кому-нибудь приехала жена, привезла битой птицы и своей свекольной. Кто-нибудь раздобылся картошкой, соленым огурцом. Сначала только этим, а потом хлебом, а потом махнет на все, что поставлено на стол, — будет праздник. Слово кто-то шепчет мужику на ухо, что у малого ни калитки в огороде, ни верев от ворот. Такой он мужик и есть. Накормят.

Стройка не была огорожена ни забором, ни проволокой — иди на любую сторону, никто не остановит. Вдаль уходили серые осенние поля, темнели овраги и сырые леса. Идти было некуда. Погонят — сам не пойдешь. Где найдешь привольнее жизнь?

Дьяков постоял у дверей общежития и вошел в комнату, где было жарко. Мужики, как он и предполагал, усадили его за стол к горячей, дымящейся картошке с солеными огурцами. У мужиков был праздник, не календарный — свой...

Гаданье Дьякова о Клаве не сбылось. Когда подъехал почтальон, она была на крыльце. Получив письмо, она осмотрела конверт, раскрыла его и прислонившись к столбушке, у которого обнимал ее Дьяков, принялась за чтение.

Не дочитав письмо, она бросилась в дом, схватила чемодан, побросала в него носки, портянки, в чулане взяла окорок сала, топленого масла, гуся, приварилась.

«Паразит! На тонкий носок в резиновых сапогах... Ревматизм зарабатывает. Мужик там ему онучи обещал! Нет, паразит, сама тебе все доставлю. Никуда ты от меня не денешься, никуда, па-ра-зит!»

Поэты—участники VI Всесоюзного совещания молодых писателей

Валентин Голубев

Жребий

*Учила в детстве мать меня,
Наверно, было ей виднее:
И леса бог не уравнил,
Ну, а людей — куда труднее...*

*Мне выпал жребий, жизни дар:
Когда для гроз настанут сроки,
Чтоб на себя принять удар,
Быть*

самым

деревом высоким!

*

*Герои не успели постареть,
Они, собой являя исключенье,
Уснули у притихших батарей
Давно уже минувшего сраженья.*

*Они ушли в тот вечный переплав
Лугов с цветами, пашни с перегноем,
Зеленою ракетой отплыл,
Последнюю, сигнальную перед боем.*

*Они остались в памяти земной
Пехотой на Синявинских болотах,
Подлодкой, не вернувшейся домой,
Иль раненым смертельно самолетом.*

*Невесты их, с другими постарев,
Других любили, о других печалась.
Они же, в танках факельных сгорев,
Себя с любовью вечной обвенчали!*

*Хоть мы еще не мечены свинцом,
Есть в лице поколения суровом
Гагарина веселое лицо,
Чуть грустная улыбка Комарова.*

*
Когда прощаются мужчины
И, слов достойных не найдя,
Спокойно, сдержанно и чинно
Жмут руки и в глаза глядят,
Когда у каждого дорога
Длиною в жизнь и риском в шаг,
Помедлить хочется немного
И руку друга задержать.
И в жизни нам бывает больно,
Ведь было многое зазря:
Целуем женщин недостойных,
Стыдимся нежности к друзьям.
Мужское горе неприметно,
И радость в нас не напоказ —
Не потому ль суровой меткой
Легла морщинка возле глаз?
Ну что ж, пора!
Ветра крепчают,
Зовут дороги и мечты.
Ты в жизни будь, как я, отчаян,
А я — настойчивым, как ты.

Сентябрь

Месяц вересень,
Месяц ревун —
Рев зверей да цветет вереса.
И опять тебя,
 мать, позову:
— Что ж, пойдём за черникой в леса?

В те леса за деревней Горелово,
Там, где синью просторы рябят,
Там, где ты удивленно смотрела
На лосей, испугавших тебя.

Ласков полдень, и солнышко ярко,
Синь сентябрьская к озеру льнет,
Голубикою — пьяною ягодой
Я лежу в вересе опьянен.

Сердцу радостно в этой истоме.
И не хочется знать наперед
То, что осень в туманах потонет
И что за зиму солнце зайдет.

Я лежу,
Тихо тенькает птица,
Слышу голос, но чей — не понять:
Может, осень зовет заблудиться,
Может, мать

потеряла
 меня.

*
Скоропостижно роца умерла,
И торопливо птицы улетели,
Туман белесый на краю села
Уже пророчит первые метели.

Крылечком в осень и трубою в синь
Избушка наша встала у дороги
И ждет ноябрь,
Который погасит
Придет леса,
Что глянцем колобродят.

Все лето птичью слушали мы трель,
И даже после золотого ливня
Покажется нам первая метель
Знакомой песней пеночки в малиннике.

*
Еще не поздно все уладить,
Не ханжествуя, не юля...
Листочек вырву из тетради
И напишу: «Прощай, моя
Весна, не вызревшая в лето,
Мечта, не ставшая судьбой.
К чему обиды? Если это
Решила жизнь за нас с тобой.
Ведь все равно не миновать
Нам поля минного разлуки,
Не целовать, не миловать —
Скорбеть, заламывая руки...»

*
Сходят люди с ума,
Сходят с рельс поезда,
Сходят звезды с орбит,
Догорают и гибнут...
Но во имя живущего
Будут всегда
Покolenия

 складывать
 гимны.

Песня детства

Знаю, где-то далече, далече
Над распаханной талой землей
Гуси вклинились в небо,
И вечер
Подрумянил их крылья зарей.

Знаю, где-то высоко-высоко
Грозовые стоят облака.
А под ними в лесах, у истоков —
Чья-то песня светла и легка.

Жаль, не помню, о чем эта песня
И какие в той песне слова...
Но она — голубым перелескам,
Белым яблоням,
Юным невестам,
И от слова до слова — права.

*

Царствуй, радостное лето, —
Знойный полдень,
Звонкий голос!
Но уже качает ветром
Зябко-зябко поздний колос.

Кормит белых птиц болото
Горькой ягодой неспелой.
А дорога нынче что-то
Неспокойное запела.

И холодные рассветы,
Одинокие колосья
Примирили август — с летом,
Породнили с летом — осень.

*

А ты с тех пор счастливым не был,
Как от родимого двора...
Пора березового неба
И солнца спелого пора.

Вдали от шума городского,
От суеты и от дорог
Давно пора найти подкову —
И вбить, заветную, в порог!

Цветы на вечерней Садовой

Шум и музыка.
Хлопали двери.
Вдруг девчонка взошла на крыльцо, —
Астры,
Астры,
Как белые перья,
Обрамляли смешное лицо!

И она не взошла,
А — взбежала
С этой легкою ношей своей,
Словно лебедя крепко держала
Над потоком машин и людей.

Но, непойманной птице не веря,
Вмиг толпа расхватала букет; —
И качались белые перья
Над Садовой, как в синей реке...

Дон-Кихот

Уж эти книги — все в них мудрено,
Смутят чело — а время изменилось.
Куда ты, рыцарь?
Все тебе приснилось!
А рыцари перевелись давно.

На Росинанте — допотопном звере
Уж так смешон твой тощий силуэт,
Что даже Санчо, друг, тебе не верит,
А ближе Санчо — никого и нет!

Но всяк собой доволен и судьбою, —
Куда спешить?
Зачем седлать коней?
Плюют в тебя спасенные тобою
И не считают брошенных камней.

Любовь?

Смеются даже над любовью...
Мой бедный рыцарь,
Храбрый человек,
Ведь замкнутость — удел средневековья —
Переживет назначенный ей век!..

И все ж потом,
Сорвав с замков печать,
Мир сам себе однажды вдруг поверит!
И распахнутся запертые двери,
Чтоб странствующих рыцарей
Встречать.

СЕВЕРНАЯ ИСТОРИЯ

ПОВЕСТЬ

1.

Телеграмму я получил двадцать пятого числа. За шесть дней до Нового года.

Я прочитал телеграмму два раза, посмотрел дату отправления и положил листок в карман. Потом пошел к начальнику партии Талахтиди, объяснил, что мне надо уехать домой по семейным обстоятельствам.

Талахтиди сказал:

— Третьего числа начинаем бить дорогу на профиль, где тебя прикажешь искать?

— Вы же знаете, я приеду, — ответил я. Мы дружим с Талахтиди два года, но я обращаюсь к нему на «вы», а он ко мне на «ты».

— Я успею приехать, Анатолий Иванович, — сказал я.

— У тебя что, личный самолет? — спросил он.

Тут пришла Томка и принесла горячий чай. Он налил в две кружки, себе и мне. Томка в домашнем халатике, в валенках на босу ногу стояла за его спиной и смотрела, как он пьет.

Я на нее никогда не смотрю. Смазливая мордочка, короткие светлые волосы. Очень чистые, наивные глаза. Я и так знаю. Я, может, и не люблю не столько ее, сколько вообще любую из таких женщин, которые оказались бы рядом с Талахтиди. Для них он прежде всего мужик, красивый, жизнестойкий, продолжатель рода, как говорится. Вот это они и видят. А я его чувствую как высшую человеческую организацию, как умело сотворенное вещество, в сравнении с которым мы все — первичная протоплазма.

Я стал застегивать на унтах ремешок, который отцеплялся в самое неподходящее время.

Я застегивал ремешок и увидел рядом Томкины коленки, белые, с такой тонкой в крошечных пупырышках кожей. Я подумал, что их, наверное, трогал много раз Талахтиди. Еще я вспомнил, что пока мы жили тут, и жить нам еще восемь месяцев безвыездно. Так вот, пока мы так жили, где-то существовали сами по себе всякие коленки, и ни им до нас, ни нам до них дела вроде бы нет. Если бы не эта Томка и не телеграмма, которая сразу все переменяла во мне и вокруг!

— Где же твой отец? — спросила опять Томка.

Талахтиди ковырял спичкой в зубах и на меня не смотрел.

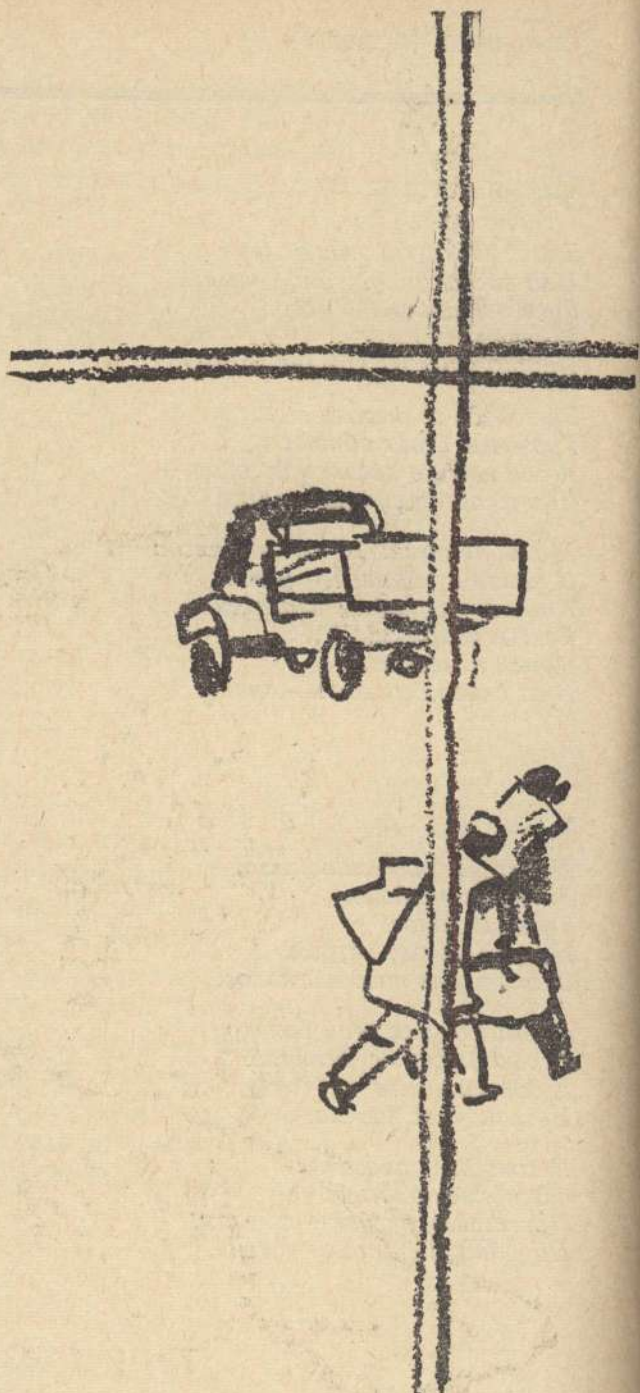
Я сказал Томке:

— Пропал без вести.

— В войну? — спросила Томка.

— Да. В первую империалистическую, — ответил я.

Талахтиди взял историческую книжку, она называлась «Две столицы», и стал читать, как будто меня уже здесь не было.



Мне с ним и легко и трудно. Когда я уезжаю, он говорит обычно: «Смотри, чтобы не снесли башку. Ты ведь дурной, с загибами, всегда тебя заносит не в ту сторону». Он, наверное, и сейчас хотел это сказать, но стал читать книгу.

— В Новый год буду здесь, — сказал я уже не ему, а Тамаре, и открыл дверь.



Рисунок Бориса Семенова

— Не вернешься — уволью, как прогульщика, — крикнул Талахтиди вслед, а я захлопнул дверь, чтобы не студить им балок. Я пошел искать Аркашу Королева.

Я нашел их с Олегом в семейном балке, они пили красавку. Дело в том, что наш медик уехал в отпуск, и аптечка стала народным достоянием. Олег

искал пирамидон и наткнулся на эту самую красавку.

— Аркаш, — сказал я, — Талахтиди разрешил выезд до города.

Уговаривать Аркашку не надо. Он три месяца не был в городе. Он сразу же пошел греть машину, а я подождал, пока температура масла дойдет до нормы,

и мы поехали. До города сто двадцать километров тундры. Трактора тут доходят за сутки, вездеход же — часов за восемь.

Город мы увидели издалека: огни на горизонте. Я так давно не видел много огней, что не узнал их и расстроился.

Я спросил:

— Огни?

— Столица! — ответил Аркашка. Он повел вездеход так, словно мы были наступающие войска и брали город приступом.

Улетел я из города только на следующий день, когда аэропорт в Печоре открылся и дали один борт.

Аркашка проводил меня до самолета, потом он влез и в самолет, хотя дежурная на него ругалась. Он сидел и толкал меня в бок — мол, улетит без билета, пока его не выпроводили с шумом. Я откинул кресло и заснул. Я всегда сплю в самолетах.

В Печору я прилетел в семь вечера. Сыктывкар был закрыт вторые сутки. Я решил лететь в Воркуту, откуда ходят большие самолеты прямо до Москвы. Потом оказалось, что рейс на Воркуту будет утром, если не испортится погода, а ночью проходит поезд, который также завтра утром должен быть в Воркуте.

Я сдал авиабилет в кассу и поехал на вокзал. Рядом со мной оказался студент первого курса зоотехникума, он спросился на Новый год домой. Он сказал, что его зовут Олег, а я представился начальником геологической партии и стал травить о всякой там геологии. Он слушал развесив уши и ел сыр с морсом, которым я его угощал. Морс буфетчица наливала из большого бидона. Парнишка рассказывал, что его отец живет в зверосовхозе, и он сам, Олег, любит лисиц, всяких зверушек-петрушек. Он ушел за разговором весь сыр и выпил пять стаканов морса.

Я говорил: «Пей-пей, бидон большой, а кончится, еще привезут». А он пил — верил, что ли, дурачок?

Мне, конечно, было смешно, что он такой дурачок, раз не может отличить помощника оператора от начальника партии.

Вообще же Олег проводил меня до вагона и сказал: «Счастливо — может, встретимся?»

— Конечно! — ответил я. — Ты можешь мне написать. Я сейчас на всесоюзное совещание еду, потом за границу, а в январе буду в партии. Если хочешь, я могу на работу устроить.

— Подумаю, — сказал Олег.

Пусть думает, раз башка приставлена. А еще лучше — пусть разводит свои шкурки на манто, не всякий это любит.

Я стоял на ступеньке, а Олег внизу, и я подумал, что отвечать на письма ему не буду, да они и не станут писать. Это он просто от избытка благодарности за то, что я потчевал его сыром и морсом. Стинешка у него двадцать рублей, а я только южных сто сорок полуцаю, да всякие коэффициенты...

Поезд тронулся, и я махнул ему рукой.

«Дадим стране больше пушнины! Русский мех славится во всем мире! Ондатры, лисицы, голубые песцы...» Мне захотелось самому разводить всякое зверье, и стало жалко, что Олег не пригласил в свой зверосовхоз. Я подумал, что, может, я ему даже отвечу. Если Олег напишет мне письмо.

Проводник сказал, что в моем купе едут девушки и чтобы я не шумел. Но, в общем, они сами не спали, а стали на меня смотреть. Я сказал, что, конечно, извиняюсь, что потревожил их ночью, а

сам тоже старался их разглядеть. Они засмеялись, и та, что сверху, сказала:

— Ерунда, нам в Инте все равно сходить... Спать нам уже поздно.

— Какая сейчас была остановка? — спросили они.

— Это была не остановка, — сказал я, присаживаясь и протягивая ноги. У меня унты на четыре размера больше ноги. Я уже привык к ним, только ремешок все время отстегивается. Я только сейчас заметил, что он болтается, и, нагибаясь, сказал: — Поезд был остановлен для меня специально. Я тороплюсь в главк с большим докладом.

— Вы геолог? — спросили девочки.

Теперь я их рассмотрел при свете настольной лампы. Та, что наверху, была темноглазая, с густыми черными волосами, распущенными по плечам. Нижняя же была и не темна и не худа. Они сказали, что учатся в Москве на художников-декораторов, а сейчас едут к Люсиной маме на Новый год. Люся была та, что внизу.

— Кто же все-таки вы? — спросили они меня.

— Не ломайте голову, — сказал я. — Я просто работаю в зверосовхозе.

— Как? У вас настоящие звери?

— Конечно, не игрушечные. Лисицы, ондатры, голубые песцы. Русский мех — лучший в мире!

— А что они едят? — спросила та, что сверху.

Я поглядел на нее и подумал, что такое воздушное существо, как она, вряд ли вообще нуждается в еде. Она может спокойно почевать на белом облатке, как бог в каком-то кино.

— У вас есть муж? — спросил я ее.

Она удивилась вопросу, но кивнула.

— Он ничего не умеет, кроме рисования, — сказала она так же серьезно. — Мы вообще с ним такие неприиспособленные, что сами удивляемся!

— Расскажите лучше про зверей, — попросила Люся. — Мы ведь совсем ничего не знаем. Вы в своем докладе про зверей будете рассказывать?

— Как бы лучше объяснить?.. — сказал я. — Вот у нас очень важные проблемы стоят перед животноводством... Так?

— Так, — сказали девочки.

Я посмотрел наверх и подумал, что важнее проблемы, чем поправиться этой воздушной девочке, для меня не существует.

— В нашем зверосовхозе, — сказал я, — проводятя впервые в мире опыты по скрещиванию коровы с медведем.

— Как? — спросили сверху. — Так бывает?

Я рассматривал унты — нагнулся, чтобы поправить ремешок.

— Что такое — бывает? Нужно — значит, сделаем. В науке всегда так. А проблема эта сложная. Но сколько сразу выгод! Удобно, потому что можно стричь шерсть. Коровники уже не нужны, их заменяют обыкновенные берлоги. И корма не нужны — животное будет сосать лапу и давать молоко.

— Как инте-ресно! — сказала девочка сверху и как-то тихо, ни на что не опираясь, словно лунный человек, спустилась и села против меня.

Я полюбовался на застегнутый ремешок, потом посмотрел строго на девочку. Я не люблю, когда мне не верят, я честно обижаюсь на таких людей.

Тут постучал проводник и велел девочкам собираться.

— Поехали в Воркуту, — предложил я им сразу. — Я вам город покажу.

— Ой, мы бы с удовольствием, — сказала Люся, а вторая, «лунная» девочка кивнула. — Но у нас мама, и еще мы должны представить этюды.

— Искусство должно быть связано с жизнью, —

сказал горячо я.— У меня в Воркуте каждый третий человек — знакомый или родственник! Ну, поехали?

— Я и сам не знал, почему я их так старательно приглашал. Ведь я собирался лететь в Москву, а потом дальше, в Донецк. Что бы я с ними делал, честное слово, не знаю. Но я сейчас ни о чем не думал — мне просто не хотелось оставаться без них.

— Ну, поехали! — попросил я. — Я вам настоящую тундру покажу!

Они почему-то засмеялись и стали выносить чемоданы. Теперь они были заняты только собой, а я смотрел на них. Но остановки все не было, они сели опять напротив, и Люся сказала:

— Вы не обижайтесь, мы, серьезно, не можем с вами ехать. Приезжайте лучше к нам в Москву, ладно? Я вам адрес оставлю.

— Ладно, — сказал я. — Я в Москве бываю два раза в месяц, когда в министерство вызывают.

Люся написала адрес.

— Я могу письмо написать, — сказал я.

Они не расслышали, потому что поезд стал тормозить, и они пошли из купе, разговаривая о маме, жалея, что ей пришлось вставать ночью.

Я тогда подумал, что они не расслышали моих слов, и выскочил вслед. Они уже выходили в тамбур.

— До свидания! — кричал я громко. — Я вам письмо напишу!

Они скрылись в густом пару и ничего не ответили. Я вернулся в купе, лег и уснул.

Проснулся утром оттого, что кто-то рядом пыхтел.

Человек вытирался полотенцем, широко раскидывая локти. Он посмотрел на меня и произнес:

— За два часа до Воркуты ресторан закрывают. Между прочим!

В ресторане мы заказали по бутылке красного вина, так как пива на воркутинском и архангельском направлении не продают вот уже три года. Будто от пива пьянеют больше, чем от вина!

Человек сказал:

— Бюрократы есть повсюду. Это не теорема, а аксиома.

— Ага, — сказал я. И мы выпили.

Оказалось, что пью я с журналистом, который хочет что-то написать о Воркуте. Он быстро покраснел от вина, и волосы на его голове стали еще белей.

Я же отрекомендовался ревизором по железнодорожным станциям и сказал, что тундру вижу только из окна вагона и, наверное, романтично бы годик-другой пожить в ней. Это я испытывал журналиста на прочность.

— Тундра это бог одиночества! — сказал он. — И вообще, что ни севернее — помельче домишки, покрупнее людишки!

Я кивнул, будто поверил ему.

В прошлом году засели мы крепко на реке Лайя. «Лайя — родная...» На двести километров вокруг ни единой души Аркашка тогда сломал гусеницу, Витька Носов уехал вперед и никому не помогал. Хоть перевернись, Носов Аркашке никогда не поможет. Рабочие загорали в балке и не торопились лезть в снег. А Талахтиди молчал, даже голоса не повысил — уж я-то знаю, как он взрывается из-за пустяков. Я после спросил, почему в такой момент он был тих как кролик.

— Потому что тундра, — сказал Талахтиди. — Пойми, тут уж все относительно: начальник, подчиненный... Остаются чистые человеческие отношения.

Пожил бы с нами в балке этот журналист, может, и понял бы тундру. Нары, спальный мешок, выданный завхозом Серебряковым. «Балок-балок, повернись к профилю задом, к Воркуте передом».

— А вы все знаете? — спросил я журналиста. — Скажите, что такое жизнь?

Я иногда становлюсь очень навязчивым. Талахтиди говорит, что временами я невыносим просто. Журналист пока терпел.

— Может, я дурацкие вопросы задаю, — сказал я. — Но я институтов не кончал...

— Ну? — спросил он.

— Мне ведь некого больше спросить... Я один. Так бывает?

— Так бывает, но так бывает плохо, — согласился он.

— Конечно, плохо. У меня, конечно, есть друзья, с которыми я вместе работаю, но ведь это не дружба, да?

— Наверное, нет.

— А я ни одному человеку не доверюсь, который еще не нашел себя. Вот я хочу, чтобы вы сказали: что такое жизнь? Жизнь — это ложь или жизнь — это все честно?

— А сам ты как думаешь?

— Это потом, — сказал я. — Вы на мой вопрос ответьте. Да или нет. Это ложь? Вранье, да?

— Нет, — сказал он быстро.

— Я свою жизнь граблю, мне так все говорят. Хочу, чтобы лучше было, а получается плохо. Почему?

— Почему же? — спросил он.

— Нету примера, — сказал я. — Нету человека рядом.

— Да тебе что, няньку нужно? — воскликнул журналист.

— А если я безвольный! — сказал я. — Я склонен к подражанию, у меня своего ничего нет.

— Так не бывает!

— Вот я с вами говорю, — продолжал я. — Я вам верю. Нужно думать, быть самостоятельным. Вы еще скажете, что надо учиться, что жизнь сложна и многое нужно понять, чтобы достичь высот...

— Верно, — сказал он.

— А я вам верю. А потом я Аркашку увижу, он мне знает что говорит: «Плюнь, Лешка, на все, единницей человеческой меры в нашей жизни есть рушь...» Аркашка знает какой водитель? Самый высокий класс, это я вам честно говорю. Так с вами я час-другой посидел, и «аухведерче». А с Аркашкой мы два года в тундре сидим и еще будем сидеть...

— Так ты ревизор или кто? — спросил журналист.

— Ревизор! — сказал я. — По ночам провожу ревизию магазинов, где что осталось.

— Врешь ты все, — сказал журналист, вставая и расплываясь.

— Конечно, вру, — согласился я. — И что я ревизор, я наврал, честное слово. Я просто учусь на художника-декоратора в Москве. Заходите!

— Зайду, — сказал журналист.

— Обязательно только, — искренне пригласил я. — Мы с утра занимаемся, а вечером я пишу этюды. Вы не врете, вы точно зайдете ко мне?

— Слово, — сказал он и ушел.

Я после этого сидел в ресторане до закрытия и разговаривал с официанткой. Кто-то говорил, что нельзя спрашивать женщин о прошлом. А я всегда спрашиваю о прошлом, и мне становится грустно. Тут, на Севере, словно в космосе, витают обломки разных миров и судеб.

Официантка рассказывала, что у нее был муж, какая-то шишка, а дома просто тиран.

Я кивал, но слушал и не слушал, потому что сам мог ей таких историй сто рассказать и еще одну штуку. Я, может, просто старался для нее, чтобы она кому-то могла все высказать.

Когда женщина кончила, я сказал, что таким, как ее муж, надо ломать позвонки. Я ей сказал: «Вы оставьте адресок, у меня есть друг журналист на материке, может, он фельетончик катанет». Я бы сам такого разукрасил, но оказалось — он живет в Алма-Ате.

Я дал официантке трешку на чай и ушел в вагон.

Журналист спал. Я лежал и думал о себе. «Ты ре-визор или кто?» — спросил он. Ревизор! Себя ре-визую, кого еще! У меня есть тетрадь, где все про себя изложено. От нечего делать. Я так и написал на первой странице: «Дневник, который ведется от не-чего делать».

Начинается он так:

«Сегодня в карты разыгрывали, кому ехать за дровами. Продукты на исходе: Серебряков ухитрил-ся держать на недельном пайке месяц. Иметь бы юридическое образование и копнуть бы его как следует... Еще болят зубы. Словно отваливается че-люсть. Когда мне удастся их выдрать?»

Приходил самолет, сломал на посадке рули и ушел на базу.

Наша палатка напоминает сейчас студенческое общежитие, все лежат вперемежку. Вход в палатку, через который можно было лежа наблюдать за пей-зажем, сегодня закрыт дождем.

Нудно. Хочется реветь, драться и буянить. Вот только дорвусь до города... Придет самолет, сяду, и в гробу я видел вашу геологию вместе с геодезией!

Сегодня получил от одного по роже. Он начал мне рассказывать о жене, какая она верная и хоро-шая, что ждет его, бедолагу... А я хохотать стал! Я ужасно хохотал, за что и получил свое. Скула болит и сейчас.

Сегодня двенадцатое августа. Или четырнадцатое. Полгода сплошных неудач и невезений. Температура около нуля, ветер, дождь — чего еще нужно ро-мантику! Но романтики нет в наших делах, она где-то рядом, где нас не бывает. Я сижу у своей разбитой сейсмостанции, и это тоже лично моя вина.

Аркашка поет песню:

У меня есть мама,
У меня есть папа,
У меня есть тетя —
Тошя, как моль!

Мама очень любит письма,
Папа любит телеграммы,
Тетя письмам-телеграммам
Предпочитает бандероль...

Где-то есть почта, бревенчатый дом.
Мы туда когда-нибудь дойдем.
И отгучим мы телеграммы,
И отправим бандероли,
И напишем кучу писем —
Про свою собачью жизнь.

Приедет Талахтиди и спросит:

— Как жив, Курилка?!
— Весело! — отвечу я.

К Аркашке Королеву привязалась пичужка. Крошечная птаха, но любит Аркашку и от него не

отходит. Когда он спит, пичуга собирает на нем ко-маров.

Кто же будет любить нас, людей, которых никто не видит?»

2.

Воркутинский аэропорт был третий день закрыт из-за погоды. Я купил билет, потом пошел в буфет и купил бутылку кефира. Я пил кефир, стоя за мраморным круглым столиком, и делал вид, что он мне нравится. Кругом ходили люди. В углу на ве-щах спали комочки. Бегала дежурная по аэропор-ту — женщина средних лет, крепкая на язык. Я еще подумал, что дурную она выбрала себе работу: от-вечать за то, что от нее не зависит. Я бы свихнулся на такой работе. Я подошел и сказал ей:

— Как жизнь идет?

Она внимательно взглянула на меня, стараясь вспомнить мое лицо.

Ответила:

— Вперед ногами. — И усмехнулась.

— А по вредности вам не платят? — спросил я.

— Самое вредное производство — это сама жизнь.

Приходили люди, говорили: «Задерживаем гру-за». И про погоду: «Ветер, метель, видимость двести».

— Далеко летите? — спросила меня в свою оче-редь диспетчер.

— В Москву. Я журналист, в газете работаю.

— Ага! — произнесла она и вздохнула. — А тут недавно композиторы приезжали, на Сендивей и ге-ологам должны были лететь. Сперва загрузили кар-тошку, тонну целую. Потом сказали: полетят ком-позиторы. А там картошки нет. Так композиторы полетели, а картошка осталась... Видно, у людей душа голодная, — сказала она. — Вам меховую одеж-ду дают или свою приходится иметь?

— Что? — спросил я. — Ах да, это у нас спец-одежда. Если, к примеру, на экватор нужно ехать, то получаешь шорты, панаму и черные очки.

— На экваторе небось жарко? — спросила жен-щина.

— Очень, — сказал я. — Там из-за жары, так же как у нас из-за мороза, дни актируют.

Женщина сказала:

— А я сегодня никак не могла дверь открыть — снегу намело доверху. Задергушку на окне подня-ла — ничего не выдать. Какие уж там самолеты! А на работу надо идти. А дочка плачет: «Мама, не ходи, тебя задует!.. Тебя задует».

— Давно с материка?

— Восемь лет, — сказала она. — Сам-то шахтером на семнадцатой, а я дома сидела с ребенком малым. В магазинах брала всего понемножку, чтобы чаще ходить...

И она стала рассказывать о себе, о муже, о со-баке по кличке Забой, еще о дочке, еще о послед-нем обвале в шахте...

А я опять о чем-то думал — сперва, кажется, о композиторах; я представил, как кто-то кого-то спрашивает: «Ну что, музыку даем или картошку?» А люди на базе думают и решают: «Музыку. Ве-зите музыку».

Я кивал, а она все рассказывала, пока ее не по-звали. Мне отчего-то стало грустно. Я подумал, что

нужно договориться с диспетчершей и пойти к ним в гости. Но тут я увидел Витьку Носова.

Витька — наш водитель, я уже о нем говорил. Он уехал из партии дня за три до моей телеграммы. Тогда все ребята собрались в балке Талахтиди и составили грамоту: список запчастей к тракторам, без которых невозможно бить дорогу на профиль.

Витьке коротко объяснили, что будет, если он не привезет запчастей... И он уехал.

Теперь Носов сидел в кожаном аэропортовском кресле и затравленно смотрел на бумагу, лежащую перед ним. Я сразу увидел, что Витька сильно похудел. Скуластое лицо стало еще острее, конопатины из рыжих превратились в темные.

— Вот, — сказал он и ткнул в бумагу ногтем, словно он специально ждал меня и только для такого случая тут сидел. При этом он забормотал:

— Форсунки... Карбюратор АТЛ... Фары — четырнадцать штук, лампочки к ним — полста...

Палец, которым водил Носов по бумаге, слегка дрожал.

Я вспомнил, как в прошлом году Витька форсировал Лайку. Когда бьют дорогу на профиль, кому-то первому надо ехать трактором на лед реки. Если трактор пройдет, значит, повезло и ему, и трактористу, и начальнику партии, который просто молится на крепость льда. Ну а если трактор провалится, то тракторист должен вышибить стекло и всплыть наверх, где его встретят и теплом и спиртом...

Я несколько раз наблюдал это непостижимое для меня и для самого, наверно, Носова почти кошачье касание льда. Когда трактор становится как бы на цыпочки, точно не сталью, а босыми ногами ступает на лед и идет по нему...

Витька, конечно, занозистый парень, почти хвастун. Но руки у него тогда, на реке, не дрожали, это я мог бы подтвердить.

— Одиннадцать, — сказал он, поднимая желтые брови и смутно взглядывая на меня. И тут, кажется, он понял, что не должен меня тут встретить.

— Чего одиннадцать?

— Пунктов, — сказал он. — Одиннадцать пунктов выполнил. Семь осталось.

— А я проездом, — сказал я. — Меня отпустили на свадьбу сестры. Замуж выходит под Новый год, знаешь? Для удобства, чтобы лишний раз не трагиться.

— У тебя есть сестра? — спросил Витька, отрываясь от бумаг и вздыхая.

— Да, — ответил я быстро. — Молодая зануда. Снюхалась с каким-то морячком, он ей из загранки всякие тряпки возит... Раз мне плащик подарил, только я не взял, длинноват оказался. Роста у них, что ли, на Западе больше наших...

— А как у них с запчастями? — спросил Витька.

— Плохо, — сказал я, чтобы утешить Носова. — Сам знаешь, капитализм, анархия производства.

— Ты на свадьбу не опоздаешь? — спросил он.

Я сел рядом и стал считать. Получалось, что если я сегодня не улечу, завтра лететь незачем.

— Я на свадьбе в жизни только один раз был, — сказал Витька.

Я спросил Носова:

— Может, мне не лететь? А деньги послать на расходы, все ведь денег стоит...

— Одних родственников сколько соберется! — подтвердил Витька. — Одежда, опять же с жильем... У них квартира есть?

— Есть, — ответил я.

— И прописка постоянная?

— Самая постоянная, — сказала я.

— Вот! — воскликнул Витька, оживая и отчего-то радуясь. — Ты на воздух деньги пустишь: прилетел, улетел, и нет ничего. А они мебель купят, им знаешь как мебель нужна! Диван, шифоньер с зеркалом и кровать обязательно. Для молодоженов кровать первое дело, я тебе точно говорю.

— Ладно, — сказал я, — пойдем едадим билет.

Мы зашли на почту и отправили перевод на сто пятьдесят рублей. Витька все настаивал, чтобы я написал какие-нибудь поздравления — «посмешней, чтобы обожгались». Но я объяснил, что молодожены могут обидеться, и потом мы пошли в ресторан.

Дорогой Носов спросил.

— К Верке своей не заходил еще?

— А что?

— Ну так. Не заходил, да?..

— Какое твое собачье дело! — сказал я. Как отрезал.

Я вообще делал вид, что нет никакой Верки. Я даже для себя ее не вспомнил, будто бы ехал не в тот город, где она жила. Смешно, честное слово. Я врал себе так же, как прежде другим. Я научился уверять себя собственным враньем.

С Веркой познакомил меня Талахтиди. Встреча с Талахтиди вообще единственная в моей жизни, которая не оказалась случайной. Я даже считаю, что мне повезло. Кто-то скажет, что таких встреч должно быть больше. Но ведь у некоторых не было ни одной. Я попал в партию Талахтиди рабочим, а он стал делать из меня оператора. Он вообще возился со мной как папа Карло, когда тот тесал деревянного человечка.

— Что, оред, — сказал Талахтиди однажды, — не отсохли руки от такой работы?

— А вам-то что?

— Да лично мне от тебя ничего не требуется. Как говорят ученые, бери больше — кидай дальше, вот и вся твоя задача.

— Ну и ладно, — сказал я.

— Дурное дело ума не требует, — продолжал он, не глядя на меня. — А мне как раз оператор на станцию нужен. Но тут котелком варить надо или как?

— Не знаю.

— Зато я знаю, — говорил он. — Я же тебя как котенка носом в молоко сую, а ты сослепу все в дерьмо лезешь, да еще счастлив от своего подвига, сосунок несчастный. На, почитай инструкцию, а после поговорим! — И швырнул мне книгу об устройстве сейсмостанции. С этого все и началось.

Однажды мы пошли на танцы. Такие танцы бывают повсюду, и состоят они из трех вещей: массовика, стародавних игр, а иногда и самих танцев.

— Чем кончаются день и ночь? — спрашивал массовик жизнерадостно и отвечал сам себе: — Мягким знаком! На что похожа половина яблока? — Все молчали, и он захолопал в ладоши.

Массовик перестал улыбаться и пошел заводить пластинку, а все оживились.

Когда объявляют дамский вальс, я всегда чувствую себя натянуто, словно на три с половиной минуты влезаю в женскую юбку. При этом я всегда веду такой разговор:

— Анатолий Иваныч, вы не знаете, батарея для сейсмостанции подвезли? Нет, да? А вам уже сообщили о результатах последнего зондирования?

— Смотрите, — сказал Талахтиди, — тебя сейчас при-

гласят. Ты, Лешка, унылый человек, но всем нравишься, а?

— Болтун — находка для шпиона, — ответил я. Все, кто слышал, рассмеялись, и я рассмеялся, посмотрев вокруг себя: ко мне и впрямь направлялась девушка.

Она мне сразу показалась красивой — такой красивой, что я не успел придумать, как ей нахамить. Тут она остановилась и посмотрела на меня.

Но это потом. А тут я спросил Талахтиди:

— Действительно, на что похожа половина яблока?

Она стояла передо мной, и в глазах ее была просьба — нет, мольба или страдание — от того, что она уже не могла просто уйти. А я мучился догадкой, повернувшись в сторону ребят:

— На что же похожа половина яблока?

— На вторую половину! — крикнули мне. И все засмеялись.

Наверное, она бы заплакала — очень тихо. С такими глазами громко не плачут. Но тут вышел Талахтиди и увел ее танцевать. На следующий день мы сидели на сейсмостанции, Талахтиди объяснял настройку осциллографа. И вдруг сказал:

— Слизняк ты, Леха. Я не понимаю, за что таких женщины любят. Мы разговаривали только о тебе!

— Какие женщины? — спросил я.

— Не притворяйся. Она была самая интересная там...

— Не фонтан! — сказал я.

— Господи, какой непрошибаемый дурак. Дремуч как тундра! И это мой работник!

— Ну, ладно, — сказал я. — Так и быть, я на ней женюсь.

На следующий день я взял под аван деньги у Серебрякова и купил себе костюм. С помощью одного знакомого нашел портного, который перешил мне брюки.

Когда мы снова пошли на танцы, я пригласил ее подружку Ларису, очкастую блондинку, а потом уже Веру. И сразу возненавидел ее за то, что она согласилась со мной танцевать. Во время танцев мы вели с ней производственный разговор.

— Кем вы работаете?

— А кем вы?

— Я учительница. Мы с Ларисой работаем в одной школе.

— А мы радиотехники. Мы с Талахтиди работаем в одном балке.

— Это так интересно, — сказала она. — Вы можете сделать сами магнитофон?

— Могу. Но предпочитаю покупать их в магазине.

Замечательно поговорили. Как меду напились. Потом я пошел провожать Веру домой и ненавидел ее за это еще больше. Она стала читать стихи, кажется, Евтушенко, а я шел и курил. После этого я сказал: «Не люблю стихов».

— Как можно не любить стихи? — спросила она тихо.

— Вот — не люблю стихов. Я их не понимаю, — повторил я, с радостью чувствуя, что вызываю неприязненные чувства и даже раздражение.

Еще лучше бы, если бы я знал хоть одного плохонького поэта: я бы сказал, что это мой любимый поэт. Но я плохо знал стихи, а самым ненавистным стихотворением для меня было: «Анна Ванна, наш отряд хочет видеть поросят».

Эта книжечка попала мне тогда, когда мы с матерью вдвоем бедовали. Чтобы меня прокормить, мать повезла в деревню к какой-то родне. Я запом-

нил только, как сижу я на печке, а мать купила теленочка и шила ему ошейник из отцовских галстуков и привязала, чтобы он не ходил по избе. Передо мной коробка деревянная круглая из-под шляпы, а в ней пять лепешек. Черных, круглых.

Я сижу и думаю о лепешках. Мама говорила, что если бы я раньше за едой не капризничал, я бы сейчас так есть не хотел. А я тумаю все равно о лепешках...

Вот тогда мне попала книжка «Анна Ванна, наш отряд». Там, в общем, о поросятах речь идет. Их кормят, поят, купают и даже укладывают спать. Анна Ванна говорит пионерам: «Поросятам спать пора, завтра приходите».

Наверное, потому я и сказал, что не люблю стихов. Тогда Вера начала говорить, что в человеке все должно быть прекрасно — и одежда, и поступки, и что-то еще...

— Вот именно, — сказал я и пошел домой.

Я часто думаю о том, что был к Вере несправедлив. Она собиралась уходить из школы, и все у нее не ладилось. Ей хотелось честной работы, романтики и какого-то порыва. Этого же она требовала от подруг, от людей, от меня.

А я однажды сказал, что работа такая — вкальвай да вкальвай, вот и все. Иногда хочется кричать, сидя в тундре, чтобы тебя взяли отсюда, чтобы увидеть обыкновенные мешанские лица в обыкновенных мешанских условиях.

Я старался принизить своими рассказами Веру, а она злилась, а может, и плакала.

Однажды она пришла на мою сейсмостанцию. Я хандрил и не пошел в город. И вдруг она. Видела Талахтиди, а тот сказал, что я сильно болен. Она была запыхавшаяся, тревожная какая-то. Встала передо мной, не успевшая скрыть своих чувств, незащищенная вовсе. У нее дрожали подбородок и таял на ресницах и бровях снег. Она не знала, уйти ей вдруг или сделать что-то иное. Она хотела по моему лицу понять, что же ей делать.

Я тогда ее поцеловал.

Потом мы просидели целую ночь в углу балка, а утром пошли гулять. Я слегка придерживал ее за руку, чтобы она не провалилась, — наст еще не держал.

Я вел ее по тундре и ни о чем тогда не думал. Мне было просто хорошо. Я угостил ее мороженой рыбой, растолченной топором, потом провожал в город — до улицы, до дома, до дверей. И вошел.

Ларисы не было. Теперь я рассмотрел их жилье. Две комнаты, в одной пол настолько покот, что по нему трудно ходить. Шкаф с книгами, стол, необтесанный, сбитый из досок. Над дверью плакат: «Семейным можешь ты не быть, жилищлощадь ты иметь обязан».

Был еще плакат, прямо над кроватью Веры: «Не важно, есть ли у тебя последователи, а важно, есть ли у тебя преследователи!»

Я спросил:

— Сама придумала?

— А кто же еще! — сказала она. И добавила, что все-таки Талахтиди настоящий мужчина и что он ей нравится.

— Он всем нравится, — сказал тогда я.

— Я могу представить, что он дарит цветы. И хотя ты ругаешь тундру и я тебя понимаю — посмотри, ведь Талахтиди твой не озверел, правда?

— Правда, но все-таки у него есть Томка.

Я пожалел сразу, что это сказал. Но ведь это была правда.

— А кто она? — спросила Вера. — Это его жена?

— Исполняющая обязанности...

Я постарался сказать как можно грубей. Чтобы Вера почувствовала, как бывает в жизни. Но она рассмеялась.

— Исполняющая?... Исполняющая, да?

Я разозлился, что она так смеялась, и тогда я сказал то, что думал. Я сказал, что Томка любит Талахтиди и готова бежать за ним куда угодно, как кошка...

Вера слушала, глядя на меня, и только поправила:

— Кошка куда угодно не побежит.

— Ну, как кто угодно, — сказал я. — Как это... Как собачка...

— Как женщина, — произнесла она. И вдруг сразу: — Хочешь, и я с тобой поеду?

— Вот сейчас?

Я чуть не захлебнулся воздухом.

— Может, не сейчас, — сказала она. — А когда уволюсь. Главное, чтобы ты хотел.

Я крикнул:

— Я хочу! Нет, я хочу, чтобы ты это сама. Чтобы тебе хорошо было...

А она ответила только:

— Мне с тобой, Леша, всегда хорошо. Ты меня поцелуешь?

Мы с ней целовались, и она сказала:

— Пусть все произойдет.

— Что произойдет? — спросил я.

— Все. Я ничего с тобой не боюсь.

Я рассматривал ее лицо, очень непонятное тогда. Я только после понял, что такой я ее никогда больше не увижу. Что это было редкое чувство, когда женщина все отдает и знает, что это по-настоящему. Может быть, разница между нами была в том, что она любила?

— А если я ничего не желаю? — сказал я.

Она стала одеваться и никак не могла застегнуть на шубке пуговицы. Шубка у нее была белая, необычная, она ее сшила себе сама.

Мне надо было встать, подойти и что-то сказать или сделать. Потом — было бы смешно, если бы она ушла из своего дома, а я остался. Я курил и молчал.

— Если хочешь, будешь моей женой. Или никем. Поняла?

Но у меня оказался просроченный паспорт, и все оттянулось на две недели. Вскоре мы уехали на базу, в глубину тундры.

— Ты, кажется, женился? — спросил Талахтиди.

Наверное, я уловил в таком вопросе что-то оскорбительное. И очень резко:

— Не понял!

— Женился, спрашиваю?

— Женился, — сказал я.

Через несколько дней за перегородкой балка услышал такой разговор:

— Надо увести у этого пижона даму.

— А это возможно?

— Всегда. Приди и скажи: «Мы с тобой молоды, давай все бросим и уедем на материк».

Я спросил: «Это о ком?»

Они все сразу захохотали, а я стоял — и вдруг бросился на них, стараясь попасть кулаком в раскрытый от смеха рот... Кончилось это для меня плохо. Они вынесли меня из балка и швырнули в снег: «Охладишься».

Потом меня вызывал Талахтиди и сделал мне выговор за дебош. Я не считал нужным объясняться.

Стояли холода, метели, но снега было мало. Болота подстерегали неопытных. Выручали такие старые механизаторы, как Носов, да грело присутствие

Талахтиди. Его любимое изречение: «Мужчина не должен быть ленивым».

Однажды он сказал:

— Вся жизнь моя: самолет, трактор, вездеход... Движение. Помнишь, как великий Толстой сказал про жизнь — почему жизнь интересна? Потому что она есть движение... Вот когда приезжаю я в Москву, захожу в наш дворик, те же лица: пять, десять, пятнадцать лет. Так же в домино стучат да о футболе спорят. Глянут только на меня, будто я с того света явился, проводят недоуменно глазами — и снова треск на всю улицу: забивать козла. Да пройдет еще шепоток по коммунальным квартирам — мол, с Севера явился, мешок денег привез... Будто на Севере хлеб буханками растет. А у меня, поверишь, одно грязное белье в рюкзаке да еще отличное самочувствие. На краю земли ведь побывал! Великая штука — не поверишь! — ходить и знать, что поработал на краю земли.

Когда я от Верки далеко, я думаю: может, я люблю ее. Стоит потушить свет — и она встает передо мной, и очень хочется ее видеть.

Однажды Талахтиди сказал так:

— У каждого уважаемого человека должна быть корочка. Если ее нет, то и человека тоже нет. Потому что он уже не человек, а квашня. Масса биформенная, в общем. Поэтому я люблю говорить: этот человек с корочкой. А этот нет...

— Вы про меня, Анатолий Иванович? — спросил я.

Я и так знаю, каков я. Это трудно понять, но не оттого ли меня тянет в тундру! А когда в тундре — тянет к людям, которых я презираю за мешанство.

Скоро мы выходим на профиль. Я тороплюсь написать Верке записку. Я пишу и думаю: неужели за мной будут оставаться только слезы и слезы? Почему мне безразлично — делать плохое или хорошее? Я пишу: «Завидую тем людям, которые, являясь полными подлецами, могут ходить по земле. Никак не соображу, чего мне не хватает для полноты?»

Дописываю письмо, иду на аэродром, чтобы передать летчику. Он опустит в почтовый ящик в городе. Еще я очень хочу посмотреть на самолет. Я иду по тундре, по колее трактора. Идти надо километра три-четыре: до озера, где вешками, воткнутыми в снег, обозначено место посадки. Ветер несет дымчатые волны поземки, вся тундра течет. Я чувствую, как ветром прошибает одежду.

Самолет появляется точкой на горизонте, его трудно поймать глазом. Будто бы соринка, висит он над снегом, и все растет, и вот уже оперяется, и появляются у него крылья и хвост. Он с ходу принаравливается к белому озеру, на мгновение появляется над ним как парящая хищная птица — и вдруг падает, и вокруг него взматывается до неба снег.

Люди бегут к самолету. Подгоняют сани, чтобы выгрузить вещи.

Рядом стоят два парня, которые сейчас улетят. Вчера они пришли в балок Талахтиди и подали два заявления, написанные на одинаковой синей бумаге. У одного заболела жена, у другого — брат.

— Гастролеры, — говорит Талахтиди. — Ладно. Обойдемся. Не смертельно. Бегите!

— Мы не бегим, — говорит один. Он бурильщик, азербайджанец. — Там работа есть, тут работы нет.

— Работа везде одинакова, — говорит Талахтиди. — Все дело в людях, а не в местах. А гастролеры — они и есть гастролеры. Валийте отсюда, чтобы

я вас никогда в тундре не встречал! Серебряков, отправь их как мертвый груз...

Теперь они влезают в самолет, а я передаю письмо летчику. Он курит, а я стою около него, прямо-таки трусь, потому что он оттуда, где я никак не могу быть. Я же говорю, у меня чего-то не хватает для полноты, а вот у этих двух ребят хватает. Конечно же, я им завидую. Я все стою около летчика, и он спрашивает, удивляясь:

— Чего тебе еще?

— Ничего. Так не забудьте опустить, — говорю я и отхожу.

Самолет еще долго стоит с работающим мотором, а я замерзаю. Наконец он ревет, трогается и почти сразу оказывается в воздухе. Стрелочка, он проходит над нами, и я слежу за ним — за тем обратным процессом превращения из самолета в зародыш, в точку. Наконец я теряю его из виду и ухожу на базу.

3.

Завтра выезжаем на профиль. Пойдет балок, уголь, соларка, первый трактор пустой с болтающимся тросом...

Талахтиди вызвал в балок Витьку Носова и разговаривает с ним о делах. Анатолий Иванович — начальник, Носов — тракторист, но ничего не сможет начальник, если Витька станет гнуть свою линию. А он виртуоз, у него запчасти лежат в той же постели, где он спит. По правую руку.

— Ну, как трактора? — спрашивает Талахтиди. Он знает, кому и чем понравиться. Он разговаривает с Носовым о технике, не упуская возможности как бы посоветоваться и обсудить общие дела. Снежок на Носове тает, сам он смягчается, и можно отметить в нем понимание и оценку Талахтиди.

— Значит, на первом тракторе ты пойдешь, — говорит, как бы спрашивает, Талахтиди.

— Снова тонуть, — отвечает Виктор.

— Трактор не теши самовар, а государственное добро — ты же знаешь!

— Техника техникой, а своя жизнь тоже одна.

— Конечно, — говорит Талахтиди.

— Мое дело телячье — привез, отвез...

Я сижу в балке и делаю вид, что читаю. Но совсем я не читаю, я слежу за разговором двух умных людей. Витька набивает себе цену, он для приличия ломается, хотя знает, что пойдет первым на тракторе, — он всегда ходил и никому не уступит. Талахтиди же невыгодно настаивать — путь рискованный, человек должен сам решиться.

— Дело добровольное, — говорит, пожимая плечами, Талахтиди. — Насильно не гонят, смысла нет. Аркашка вот просится.

— Пускай попробует, — говорит Носов, обижаясь. — Если уж Аркашка...

Талахтиди не умеет быть средним. Он индивидуальность, от этого никуда не уйдешь. А индивидуальность создает себя в неравной борьбе с окружающими и с самим собой.

Когда у него хорошее настроение, он печатает на сейсмоленге по всей ее длине свои изображения. Эта лента идет в работу, а когда ее проявят, то получается готовая сейсмограмма с портретами Талахтиди. Сейсмограмма — документ, в таком виде она уходит после в высшие инстанции, но там только

посмеются подобной шутке, особенно если результаты обнадеживающие — если они обещают дать нефть или газ.

Ведь иной раз, сидя на проклятой точке, каких богов не помянешь лихим словом за то, что сюда попал... Так, однажды я возопил:

— Что я — родился, чтобы сидеть всю жизнь в тундре?

— А для чего ты родился? — спросил спокойно Талахтиди.

— Ну, не для этого, во всяком случае!

— А для чего все-таки?

— Чтобы найти свое дело, — сказал я.

— А это, думаешь, не дело?

— Не знаю. Нет, наверное. Не мое, в общем.

Талахтиди тогда сказал:

— Вот и жизнь проживешь попрыгуней... Это не мое, другое не мое и третье. А потом оказывается, что все было, и было по-настоящему, только ты не смог увидеть. Верку бросил? — спросил вдруг он.

— Ну, вспомнили!

— Вот то-то!

Тогда я спросил:

— А у вас, у вас что главное? Вы нашли, для чего живете? Да?

Талахтиди повернулся и посмотрел на меня — словно бы убедиться, насколько я серьезно спрашиваю и стоит ли мне отвечать. Он сказал так:

— Я тоже не знаю, Леша. Но, может быть, мы родились, чтобы до этой проклятой точки доползти, а? Доползти и прозондировать ее, а там море нефти... И сто миллионов человек, которые потом здесь жить будут, и греться у паровых батарей, и свежие огурцы хрупать из оранжерей, все они из твоей точки выйдут, из твоих килокалорий, верно? Чего же более...

Красиво нарисовал — я ведь тогда поверил ему; и снова я ехал в тундру, килокалории добывать. Я и говорю — культ Талахтиди... С Витькой он говорил по-иному уже, он это умел.

— Я всегда бью трассу, — говорит, помолчав, Носов. — Только тонуть холодно.

— Это мы придумаем. Серебряков! — кричит Талахтиди. — Придумаем, чтобы не холодно было тонуть?

— Отчего же, — отвечает тот.

Он все придумает. Он на вид строгий, Серебряков. У него светлые, женские какие-то глаза, длинный нос, короткий солдатский чубик, седой, и сидеть же виски. В свое время был директором магазина, проворовался, остался тут жить.

Он рассказывает про себя, немного шмыгая носом и не снимая широкого пальто. А я вспоминаю, как в первый год, не разобравшись, Серебряков достал сорок килограммов метола для проявления. А его нужно всего два грамма на литр. Партия хотела, а в управлении плакали. Начальник треста кричал: «Куда весь годовой запас метола исчез?..»

— Серебряков! — говорит Талахтиди. — Бог есть?

— Откуда? — отвечает тот.

— На кого же молиться, чтобы дойти?

— На Талахтиди, — говорит Серебряков.

— Тяжело, — говорит Талахтиди. — Без бога тяжело. Русский мужик привык молиться. Нам бы какого завалющего бога, остальное мы сделали бы сами.

— Нет на складе, — отвечает Серебряков.

Ребята ушли в балок к Носову.

Олег, радист, спит возле своего аппарата. Завтра мы уйдем еще дальше в тундру. Дальше от людей. Хотя человеку без людей жить нельзя.

Наверное, я похож на одноклеточную жизнь, которая вышла за пределы Земли и летит по Вселенной, защищенная от всяких напастей только тонкой протоплазмой. Так, я слышал, распространялась жизнь по Вселенной, и оттого она — вечная. А я не су сам в себе жизнь, и сейчас мне показалось, что она никому не нужна. Нет планетки, которая оказалась на ее пути. А жизнь сама для себя — разве не бессмыслица?

Стены трещат от мороза, за стенами пустота тундры. Тот, кто придумал стены, был, наверное, чужак. Стены — это наполовину воображение, они помогают забывать, что за ними пусто. У нас говорят, чудиков на свете много. Строители, например. Что за работа: вбил колышек, отдал ключи и ушел. Или шоферы — всю жизнь ездят, а домой ходят пешком. И геологи. Ничего не теряли, а всю жизнь ищут.

Если человек действительно белковый робот, то чудачками можно назвать тех, кому запрограммировали на всю жизнь тоску по тому, чего не бывает.

Я вдруг чувствую, что не могу оставаться больше один. Я бужу Олега.

— Олег, — говорю я, — ты спишь?

— Нет, — отвечает он, не открывая глаз.

— Что обозначает цифра восемьдесят восемь?

— Что? — спрашивает он, поднимая голову.

— Что обозначает в твоём коде цифра восемьдесят восемь? Привет, да?

— Какой привет? — говорит он, отходя от окна. — Ты сам, Леха, с приветом!

Олег был в армии радистом. Какая-то женщина еще во время службы его полюбила. Но потом, когда демобилизовался, он понял, что она мешанка. Ни к людям, ни в гости, никуда — чтобы только под юбку сидел и за нее держался. Олег же человек общительный, он в детстве рос, привык, что коллектив кругом.

Уехал он в Воркуту, устроился в телевизионное ателье — телевизоры чинить. Но тут его доняли холостячки, что мужей не имеют. Вызывали на дню раз по пять...

— Что же обозначает цифра восемьдесят восемь? — спрашиваю я Олега и радуюсь, что слышу живой голос.

— Обнимаю, целую, — отвечает он. — Когда Носов на тракторе тонул, из управления спрашивали о здоровье — и тоже в конце «восемьдесят восемь».

— А какой цифрой обозначают «люблю»?

— Ты чего, телеграмму ждешь? — спрашивает Олег и шарит кружкой в пустом бидоне, не находя воды.

— Жду.

— У нас в коде нет такого слова, — говорит он, ложась.

— Олег, — зову я, пугаясь, что вдруг он уснет, и я опять буду один. — Олег, а как же быть, если кто-то передает «люблю»?

— А кому ты нужен? — говорит Олег.

Я думаю, кому я нужен, и не нахожу ответа...

Действительно, а кто у меня есть, кто бы не мог без меня жить? А если бы меня вообще не было, может, все так же было бы на земле, как сейчас? И люди даже не поняли бы, что я должен быть.

На третий день пути река Вожь, все вываливают посмотреть. Небольшая, в общем, речка, но страху нагоняет на людей достаточно. Носов здесь тонул.

Мы как раз закусывали, Витька откусил кусок хлеба и, дожевывая, побежал к своему трактору, который вел сменщик. Увязая в снегу, дошел до берега и посмотрел.

«— Чертова вошь! — кричал он, садясь в кабину.

— Начало купального сезона, — сказал Аркашка.

Носов подъехал к кромке берега и тихо, почти незаметно для глаза, стал сходить на лед. Он сходил по сантиметру, стараясь не исказить собственный след, чтобы углом гусеницы не разрезать лед.

Сейчас он встал в кабине, чтобы чуть было. Он ступил на лед совершенно невесомо и так же воздушным прошел по нему к противоположному берегу.

Утром оказалось — на пятом тракторе гусеница лопнула. Талахтиди так с утра заведен, что я боюсь с ним разговаривать. Ругает топографа — он зовет его теперь «Иван Сусанин», ругает Носова, что он полез на гору, но больше всех достается карте, на которой не обозначили ни широту, ни долготу.

— План, а не карта, — кричит Талахтиди. — Извозчики некультурные, горы не видели? Где она тут, гора?

— Ее нет, — говорит топограф, «топик», как их зовут здесь.

— Где твоя связь? — теперь кричит Талахтиди на Олега. — Переработал? Мне бы твою работенку.

Талахтиди хватает книгу со стола — о Фрунзе, из жизни замечательных людей, и отбрасывает ее.

— Фрунзе побеждает, а у меня одни поражения...

— Один процент связи, — говорит Олег. Это означает, что на базе не отвечают. А может, мощности не хватает.

— Эх, Вожь, Вожь! — произносит Талахтиди. — Спуск дала, лед выдержал, так подъемом добила... — Он валится на нары и молчит. И все молчат.

— Чего делать-то? — спрашивает невозмутимый Витька. — Нужно бросать?

— Да, — коротко, почти сонно отвечает Талахтиди.

— В следующий раз захватим звено и сделаем?

— Да, — говорит Талахтиди.

— Трогаю караван, — решает Витька и спрыгивает из балка на снег, оставляя дверь открытой. Остальные уходят за ним.

Талахтиди чешет ногой ногу, валяется, смотрит в потолок. Кто-нибудь бы подумал, что он сорвался и спасовал. Ничего подобного с Талахтиди не бывает. Когда нужно решать сложную проблему, в возникновении которой виноваты трактористы или кто-нибудь еще, он оставляет им право делать так, как они захотят. Сами сделали, сами выкручивайтесь. И в этом — тоже Талахтиди.

Окончание следует



ПЕПЕЛ И РОЗЫ

Есть на самом юге Польши живописнейший уголок, называемый Пенинами. Небольшая цепь известковых гор прорезана рекой Дунайцем, которую знатоки считают одной из самых красивых в Европе. Наверное, такое утверждение близко к правде, потому что Дунаец — это и башенные водопадные пороги и безмятежные разливы. Берега его то отвесными каменными стенами уходят под самые облака и глядят оттуда бойнищами неприступных средневековых крепостей, то вдруг расстилаются изумрудной травой и прохладными букowymi рощами. Река течет по самой границе. Слева — Польша, справа — Чехословакия. Местами Дунаец настолько узок, что можно одновременно слышать и польскую и словацкую речь и свободно читать вывески на обоих языках.

Очутившись на этой земле, трудно отказать себе в удовольствии проследовать очаровательным туристским маршрутом — вниз по Дунайцу, от Недзицы до Шавницы, двадцать два километра сплошных поворотов, когда то и дело выясняется, что река несет тебя именно туда, откуда ты только что приплыл. Вместе с тобой на плоту десять туристов и еще два гуралья, которые, ловко орудуя шестами, управляют всей этой махиной. Делают они это просто играючи — успевают и попеть свои гортанные песни, и выкурить по папироске, и рассказать об интересных новостях, которые случились за неделю во всей округе, от Пенин до Татр, а между тем плотогоня еще и цепко следят за рекой, потому что стоит ослабить на секунду внимание — мигом налетишь на мель или, наоборот, попадешь в такой поток, что потом тебя «никакой нурек не достанет» [как тут же выяснилось, «нурек» — это по-польски водолаз].

Мои соседи оказались туристы из Западной Германии. Фотозатворы стучали, как автоматы. Особенно их внимание привлекли добродушные плотогоня в экзотичной национальной одежде: шляпа, украшенная ракушками, красочная безрукавка-«гунька» и штаны, расписанные такими узорами, каких не встретишь больше ни в каком другом краю. Орнамент этот называется «паженица». Каждый турист считает своим долгом увезти «паженицу», чтобы потом, глядя на эти чудо-узоры, вспоминать о гуральской земле.

Больше других усердствовал человек лет пятидесяти. Бритый череп, тяжелый нос, глаза, которые когда-то были голубыми... При знакомстве назвался Фрицем Гофманом, деловым человеком из Мюнхена. Обстреляв плотогоня из своего «кодака», он

великодушно подарил ему пачку сигарет и коробок спичек. Потом, хлопав его по плечу, поинтересовался: кто мама, папа! Плотогон ответил, что мама «працует в дому», а отец давно умер от ран, которые оставили ему фашистские звери. Он так и сказал — «фашистские звери», и столько в его словах было ненависти, что деловой человек из Мюнхена моментально, словно обжегся, убрал руку с плеча собеседника. Я не удержался: «Что, не нравятся!» И тут Гофман взорвался: «Бросьте эту агитацию, эти банальные разговоры. Может, еще вспомните Маутхаузен, Майданек, Освенцим!»

Да, вспомню, потому что я был в Освенциме. И начался он для меня еще раньше, чем я увидел километры колючей проволоки, трубы крематория и это чиничное: «Arbeit macht frei» («Трудом завоеешь свободу»). Освенцим начался в закопанской кавярне, когда у соседки по столу я случайно увидел на руке номер — 24735. Синий пятизначный номер, где за каждой цифрой — человек. Расстрелянный, повешенный, сожженный... Женщина заметила мой взгляд и пояснила:

— Это Аушвиц...

Полька, посевшая в семнадцать лет, она не хотела пачкать старое доброе имя польского города и называла проклятое всем миром место так, как его именовали фашистские изверги. И филиал, лагерь Бжезинку, что лежит в двух километрах от собственно Освенцима и где она провела почти пять лет, женщина называла тоже только по-немецки — Биркенау. Давно остыл кофе, а Мария Кохта все рассказывала. Как попала в этот ад, где в отличие от «показательного Аушвица» [над ним осуществлял наблюдение международный Красный Крест, там была всего одна печь, а узников расстреливали тайно, за глухой стеной] у них, в Биркенау, циклон «Б» день и ночь душил людей, печи пожирали трупы круглые сутки. В Аушвице человека унижали, терзали, а уже потом уничтожали. В Биркенау отдельный человек вообще не признавался. Счет здесь велся на сотни, тысячи, сотни тысяч... По фашистским понятиям, здесь было уже просто человеческое месиво. Сначала месивом заполняли холодные бараки, потом — газовые камеры...

Показательный, трижды проклятый Аушвиц... Сколько ни закрывай глаза, как ни гони от себя это видение, от него не избавиться, от него никуда не убежать: гора — детские башмачки, гора — протезы, гора — чемоданы с адресами всей Европы, гора — оправы для очков, гора — кисточки для бритвы... И мягкие жен-

ские волосы — русые, каштановые, золотые — тоже гора... Смотрел я на все это, а в голове стучало: «Над показательным Аушвицем осуществлял наблюдение международный Красный Крест...» Я ходил по камерам барака № 11 — «блока смерти», я стоял у «стены смерти», которая донесла до нас след каждой пули... Эта стена, эта брусчатка перед ней так пропитаны кровью, что кажется — кровь сочится и сегодня. А может, это так полыхают розы... Они всюду — и у печи крематория, и возле тех детских башмачков, и там, где на виду у всей Бжезинки встал скорбный памятник жертвам гитлеровских извергов, где в суровый камень на всех языках врезано вечное проклятие фашизму...

Этим проклятием пропитана польская земля. Первого сентября, в полдень, в годовщину начала второй мировой войны, я был в Варшаве на площади Победы у могилы Неизвестного солдата. Под сводами легкого портика чуть вздрагивает негасимое пламя. Его блики падают на урны. В этих урнах — земля с полей сражений, в которых участвовали польские воины. Отсветы пламени на лицах солдат почетного караула — сверстников тех, кто так же строго и торжественно стоит в эту минуту у такого же огня под Кремлевской стеной.

Был парад. Гремел военный марш [кстати, известная наша песня «Пора в путь-дорогу...»], и мимо священной могилы печатали шаг пехотинцы, танкисты, летчики... Казалось, вся Варшава смотрела на них. По всей площади, от Саксонского сада до Краковского предместья, респексалось людское море. Парни в свитерах и джинсах, их подруги в пальто-пелеринках, старики в старомодных шляпах, с зонтиками и орденоскими колющими на парадных костюмах. Были среди них и те, к кому в сентябре 1939 года в осажденной Варшаве обратился начальник гражданской обороны города президент Стажинский: «Я мечтал о великой Варшаве. Я и мои сотрудники создавали планы, эскизы будущей великой Варшавы. И вот Варшава стала великой... Обращаясь к вам с речью, я вижу ее из окна во всем ее героизме и славе, окруженную пламенем, великолепную, бессмертную, великую, сражающуюся Варшаву. И хотя там, где должны быть сооружены дома для сирот, зияют руины, а в местах, где были запроектированы парки, стоят баррикады, густо усеянные мертвыми телами, хотя пылают наши библиотеки, горят наши больницы — Варшава не через пятьдесят, не через сто лет, а именно сегодня, защищая честь Польши, находится

у вершины своего величия и спавы» [Стефан Стажинский отказался сесть в самолет, предоставленный ему для эвакуации. Он остался в родном городе до конца и погиб в фашистском концлагере.]

Вдоль ограды Саксонского сада выстроились инвалидные коляски. Ветераны войны, конечно же, не могли не прийти сюда в этот день, в этот час. Казимир Войцеховский показывает нашу медаль «За боевые заслуги»:

— Первая награда. Бой под Ленино. Память о дивизии имени Тадеуша Костюшки.

Его друг Сташек Вуйчик, участник варшавского Сопротивления, рассказывает мне, как патриоты прикончили предводителя эсэсовцев, начальника полиции Франца Кутшера. Расстрелявшие гитлеровцы тогда в ответ расстреляли треста заложников, усилили террор, но задавить Сопротивление были бессильны. И на местах казней появлялись цветы.

Они и сегодня — по всей Варшаве. Там, где на стенах воинские кресты и слова:

«Здесь 20 сентября 1941 года гитлеровцы расстреляли 15 поляков». «Место, где пролилась кровь семи поляков, погибших за свободу Отчизны».

«На этом месте в июле 1943 года...»

Кровь стынет от этой каменной летописи. И всюду свечи, всюду лампы. Ночью весь город искрится этими маленькими огоньками, похожими на капли крови. Да, Варшава чтит память не только всех погибших патриотов, но и каждого. Каждого из восьмисот пятидесяти тысяч! Пожалуй, это самое сильное впечатление, которое я вынес из Польши.

На Старом Мясте в стену Кафедрального собора навеки вмурована гусеница фашистского танка, который по этой стене бил снарядами. На Иерусалимских аллеях разобрали старое здание, но кусок кирпичной стены посреди площади оставили, потому что эти кирпичи хранят следы пуль, которые 28 января 1944 года оборвали сто две жизни. У стены всегда горят огоньки, цветут гладиолусы, астры... А рядом — веселые зонтики кафетерия. Откровенно говоря, меня это соседство несколько покорило, но коренной варшавянин шофер Элий Зарычанский тут же все поставил на свое место: «Мы понимаем толк в такте, но если будем так шепетильны, пожалуй, не найдем в Варшаве для кафе ни одной подходящей улицы».

И это тоже черта Варшавы, черта Польши. Польша все помнит, но она немислима и без кавярня, и без улыбок...

Как раз в тот день, когда польская земля воздавала дань памяти героев второй мировой войны, в Западном Берлине реваншисты устроили наглую провокацию — сборище под лозунгом «дня родины». Заправляли там неонацисты из НДП. Они вновь требовали для Бонна права единолично представлять весь немецкий народ, настаивали на возвращении захваченных в свое время Гитлером территорий соседних стран, в том числе и польских...

Об этом мне напомнил скульптор Ян Боровчак. Путешествуя по Силезии, я много слышал о его памятниках, посвященных жертвам фашизма. Встретились мы в городе Ополе, и Януш предложил съездить в Ламбиволице, где когда-то гитлеровцы уничтожили сорок тысяч военнопленных.

Машина бежала по прямой, как стрела, бетонке, справа и слева весело кудрявился березняк, а Януш тихо пояснял:

— Здесь советского офицера живым закопали в землю (потом в Ламбиволице, в Музее народных страданий, я видел это на страшном снимке). Здесь было стрельбище, гитлеровцы использовали советских солдат в качестве живых мишеней...

Мы остановились у холма, над которым поднялся памятник. Бетон и железо. Два огромных факела и люди — вернее, людские останки, мощи, которые из могил проклинают своих убийц и требуют возмездия. Памятник ошеломляет, в одно мгновение вырывает из забвения и того офицера, зарытого живьем, и тех российских стриженных парней, превращенных извергами в мишени, и Зою на петрищевском снегу, и молодого гвардейца в шурфе краснодонской шахты, и бесчисленные могилы в Ленинграде, на Пискаревском...

А Януш все рассказывал:

— Война — это моя личная тема. В то время я жил с матерью близ фашистского концлагеря Ламдорф, где содержались только советские военнопленные. Однажды я передал через проволоку хлеб лейтенанту, говорю ему: «Кушай», а он отвечает, что не может есть хлеб, так как у него в лагере друг, которому этот хлеб нужнее. «Почему!» — спрашиваю. «Потому, — поясняет, — что меня все равно завтра убьют. Убежал наш красноармеец, а фашисты за это расстреливают командиров. Так что другу, который пока остается жить, хлеб нужнее...» В конце войны мы перебрались в село Пражку. Однажды гитлеровцы установили вокруг центральной площади пулеметы и велели всему населению собраться

там в шесть часов вечера. Мы знали, что это смерть. Но в четыре часа в село ворвались советские танки. Это было 19 января 1945 года. Вот почему война — моя личная тема...

И, вспомнив о сборище в Западном Берлине, на котором с бешеной речью выступил председатель реваншистского «Союза изгнанных» Рес, Януш в сердцах воскликнул:

— Пока живы эти выродки, мы не имеем права успокаиваться! Ни на одну минуту!

За месяц я много поездил, походил по дорогам Польши. И где бы ни был, с кем бы ни встречался, разговор так или иначе касался минувшей войны. И снова слышал я эту цифру:

— Шесть миллионов жертв... Пятая часть всех поляков...

Как ни красив Закопане, как ни завораживают отроги Гевонта, но Мария Кохта не может забыть Освенцим. Как ни очаровывает краковский Вавель, но экскурсовод прежде всего напоминает, что спасли это чудо войны маршала Конева. Как ни весело заглядывает солнышко в окно древнего дома на улице Туви́ма в городе Рыбнике, старой маме там все равно темно и холодно. Потому что мама никак не дожидается своего сына, который где-то все идет и идет к ней с войны — уже тридцать лет идет...

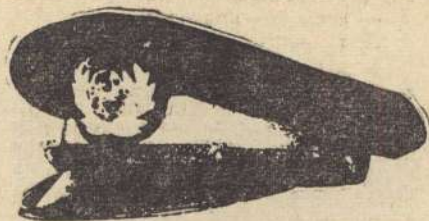
Нынче излюбленное место свиданий у молодых варшавян — новый бассейн с фонтанами, адрес которого — «Плац на роздрож», что означает «Площадь на распути». Под площадью, под бассейном, под фонтанами — через весь город, с запада на восток, от аэропорта «Оканче» к противоположному берегу Вислы, устремилась недавно краса и гордость польской столицы — Лазенковская трасса. А буквально в двух шагах от этого звонкого места — здание, где помещалось гестапо. Сейчас там Музей борьбы и мученичества. Окна, как и при фашистах, заложены кирпичом. Плывет печальная мелодия. Ступени ведут вниз, и из мрака вырастают слова, оставленные на стене камеры каким-то узником: «Легко говорить о Польше. Труднее для нее работать. Еще труднее — умереть. А самое трудное — терпеть». Смотрю на стены — имена, имена, имена... И вдруг по-русски: «Анатолий Самостюк. 24.7.44». Изощренные орудия пыток, и рядом — радиоприемник, который гестаповцы включили на полную мощность, чтобы заглушить крики истязуемых... У выхода из подземелья — толстая книга. Совсем

свежая запись: «Коренная ленинградка, я низко склоняю голову перед мужеством польского народа. Я тоже воевала против гитлеровских захватчиков и горжусь, что вместе с польским народом мы уничтожили фашизм. Ручинская».

Если Лазенковскую трассу можно смело назвать символом новой Варшавы, то символом Варшавы старой с таким же правом можно считать Королевский замок. Но фашисты замок взорвали. Варшавяне терпеливо ждали — почти три десятилетия. Варшавяне понимали: надо строить квартиры, поднимать заводы. Наконец пришла очередь замка. Его воздвигали на деньги народные. По всей стране путешествовали специальные копилки, они и сегодня стоят на самых людных перекрестках Варшавы, а главная — под колонной Зигмунда... В последний момент, перед тем варварским взрывом, часы на замковой башне показывали 11 часов 12 минут. И вот через три десятилетия, ровно в 11 часов 12 минут, часы ожили вновь. С рассвета ждали люди этого мгновения, и когда часы пошли, когда над древней площадью, над Старым Мясом, над широкой рекой полился их серебряный перезвон, люди заплакали...

Горят по всей Варшаве маленькие огоньки. Плывут над бессмертным городом белые облака. Плывут над юной Сиреной, которая назло оккупантам снова подняла у Вислы свой острый меч. Плывут над гордой Нике. Плывут над Лазенковским парком, где вдохновенный Шопен все так же погружен в мир грез и дивных мелодий. Плывут облака над Муранувом. Здесь их встречают воздушные змеи — всех цветов, самых причудливых форм. Над этой площадью — всегда змеи. На этой площади — всегда дети. Раньше здесь было гетто. Героям гетто посвящен монумент в центре площади. Он сделан из мрамора, который фашисты когда-то привезли для памятника Гитлеру. Плывут облака...

Вот о чем говорил я с Фрицем Гофманом. Общего языка, естественно, мы так и не нашли. Каждый остался при своем мнении. Но плотого, этот добродушный парень, изысканно вежливый, как большинство поляков, вдруг побледиел и швырнул господину Гофману все его подарки. К этому отнюдь не светскому жесту молодой гураль прибавил еще несколько слов, которые все на плоту поняли без перевода. Так закончилось наше путешествие по Дунайцу.



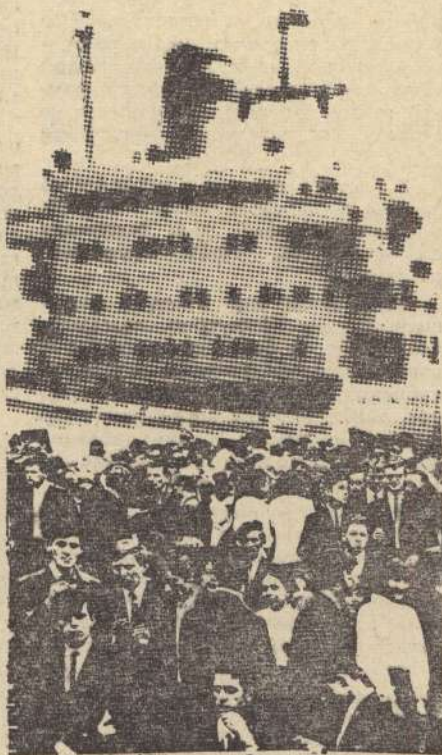
Евгений Куницын

КАПИТАНЫ

ИЗ ЗАПИСОК
ПАССАЖИРСКОГО
ПОМОЩНИКА

Есть такая расхожая фраза в иных сочинениях о море и моряках: «Всеим своим обликом он напоминал капитана». Или: «Он был похож на капитана дальнего плавания». И у меня, пока я не начал плавать, было «среднестатистически литературное» представление о капитанах. Оно изменилось, когда я стал моряком и повидал в деле многих капитанов. Англичане зовут капитана «мастер». Так вот, мастер на мастера совсем непохож. Впрочем, так бывает, кажется, не только у капитанов...

Наш капитан ушел в от-
пуск. Прислали нового—
на один рейс. В сером
пиджачке пропорхнул он
в свою каюту. Мы его не
сумели сразу рассмотреть.
Вроде не старый.
Шустрый, быстрый. Че-
рез пять минут—звонок: «Подать
рапорты о своих заведованиях!»
Старпом, главный механик, пасса-
жирский помощник, директор ресто-
рана потянулись в каюту с листоч-
ками в руках.
«Капитану.....»
от.....
Рапорт.



Довожу до Вашего сведения, что
вверенное мне имущество находится
в соответствии с записями в книге
материально-технического снабжения.
Подпись. Число.

В каюте мы рассмотрели нового
капитана. Моложавый, коротко под-
стриженный, голубоглазый, свежесвы-
бранный. Улыбчивый, со всеми поздо-
ровался за руку. Сесть не пригласил.
Прочитал листочки-рапорты.
Сказал:

- Можете идти.
- Все ушли.
- Он что — с «грузовика»?
- Разве не видно?

Да, видно, что не пассажирский
капитан. Не поинтересовался посад-
кой, а через три часа нагрянет боль-
ше четырехсот пассажиров, да по
разным броням еще десятка два.

Не успели мы спуститься по тра-
пу, как раздался звонок:

— Говорит капитан. Должна по-
дойти моя супруга с дочкой. Прово-
дите их в каюту.

И точно, через минуту вахтенный
матрос остановил миловидную моло-
дую женщину с десятилетней де-
вочкой.

— Жена капитана...

К трапу двинулась толпа: интерес-
но все-таки, какая у капитана жена.
Наш постоянный капитан ни в один

рейс свою благоверную не брал, встречать его она не приходила — никто ни разу в глаза не видел жену капитана.

Вахтенный штурман повел гостью в капитанскую каюту.

Первый ужин. В кают-компанию принято входить, спрашивая разрешения у капитана.

— Прошу разрешения...

— Приятного аппетита, прошу разрешения...

Радисты, штурманы, доктор, администраторы пассажирской службы занимали места за столом.

Новый капитан кивал головой. Чувствовал он себя в своей тарелке. Тут же, на старпомовском месте, сидела жена, а напротив — дочка.

Капитан переоделся в парадную форму. Недовольно поморщился, увидев, что третий помощник и начальник радиостанции пришли в гражданских костюмах.

Общего разговора не получилось — все немного смущались новогостя мастера.

Похлебали «отходные щи» (морская традиция: в день отхода подавать кислые щи). Поковыряли макароны с мясным фаршем, хлебнули компота — и поскорее из-за стола.

Правда, впоследствии, когда поближе познакомились с новым капитаном, в кают-компанию стало оживленнее. Разговор заводил сам капитан.

— За обеденным столом можно хоть поговорить. А то ведь на мостике тупеешь... от штурманов. О чем с ними говорить?

Капитан держал в каюте, но никому не показывал английскую книжку о правилах хорошего тона для моряков. Иногда он цитировал кое-что оттуда, наслаждаясь своим преимуществом перед нами, так как считал, что книга идеальна.

Один философ сказал, что в лице каждого человека непременно есть черта, которую, отделив от других, можно возвести в карикатуру.

У нашего капитана, как мы вскоре убедились, была такая черточка, вернее — чертища. Был он несказанно жаден.

На пассажирском судне нужно принимать разного рода гостей судна, приглашать их за капитанский стол и потчевать.

Выделяются для этой цели представительские. Хоть и не так уж много, но отпускаются.

В конце рейса директор ресторана приносил капитану счет, сколько истрачено представительских. Скрупулезно изучал капитан цифры, сам подсчитывал с карандашом.

— Выбрано все полностью, — говорил директор.

— Нет, одна инвалютная копейка

осталась, — возражал капитан. — Но это ведь бутылка боржоми!

— Боржоми кончился.

— Тогда нарзан.

И директор приносил последнюю бутылку минеральной воды.

В науках у капитана голова была светлая. Он часто публиковался в морском журнале, писал научные статьи. Года через три прочитали мы в морской газете хвалебную статью — он защитил кандидатскую диссертацию.



этим человеком мне приходилось плавать на разных теплоходах.

Человек он кавказский. Среднего роста, спортивного склада, подвижный, собранный.

Для каждого, с кем он работал, находилось у него доброе слово. Трудно запомнить наизусть фамилии и имена более трехсот человек экипажа, а он умел это делать. Идет по теплоходу, встретится с уборщицей, официанткой, мотористом — первый поздоровается и всегда назовет по имени или по имени и отчеству.

Второй раз я встретился с ним лет через пять после совместной работы на одном из теплоходов. Помнится, он слабовато знал в то время английский язык. А теперь бодро «шпарил» по-английски перед огромной толпой туристов, собравшихся на встречу с командным составом судна.

В каюте у капитана я видел много книг на английском языке, словарей, журналов. Каждый день выкраивал он час-другой, чтобы заниматься языком.

Запомнился мне отход в заграничный рейс. Выпустить пассажирское судно, на борту которого более трехсот человек экипажа, это целое событие для отдела кадров, медиков, снабженческих организаций, пожарной инспекции. Стоит добавить, что судно уходило в плавание на три с половиной месяца.

Встречал я капитанов, которые стоят на мостике и торопят, чтобы комиссия по оформлению отхода побыстрее заканчивала работу. Нет чтобы самому спуститься, переговорить, подтолкнуть кого нужно из начальства, чтобы дело шло быстрее!

Этот же капитан все время находился среди тех, от кого зависело вовремя выпустить судно в рейс. Оказалось, что у нескольких человек в медкнижках нет какого-то штампа.

Роспись врача есть, а штампик забыли поставить. Не выпускает карантинный врач в рейс, и он прав. А уже двенадцать ночи. Капитан настаивает, чтобы поехали домой и привезли того врача, который может дать разрешение на выход. И добивается своего. Заспанного доктора привозят, извиняются за беспечность, объясняют суть дела. Оно тут же улаживается, и пятнадцать официанток идут в рейс.

На занятиях комсостава изучается экономика морского флота. Руководитель — капитан. У него в руках тетрадошка, какая-то тоненькая брошюрка, журнал «Морской флот».

Предмет трудный и интересный. Нужно запоминать цифры, знать тенденции развития флота в пятилетке, решения партии и правительства по вопросам транспорта. Без подготовки ни на один вопрос не ответить. Это понимает каждый. И, конечно, неожиданно услышать такое признание от капитана: «Товарищи, давайте работать вместе, я знаю не больше вашего. Источники, из которых я почерпнул сведения, вы хорошо знаете, о них мы говорили на предыдущих занятиях».

Он уравнивал себя со слушателями, хотя знает гораздо больше. Лично участвовал в международных конференциях как представитель пароходства. Но от такого заявления у «студентов» пропал страх перед руководителем. Занятия проходили интересно, они не превратились в мучительные часы, которые пришлось бы отсиживать, попадись другой учитель.

Авторитет и любовь многих членов экипажа капитан завоевал своим вниманием к человеку, какую бы должность тот ни занимал. Он постоянно говорил нам, что любого служащего, который пришел с берега по делам на теплоход, нужно принимать тепло и радушно. Во время стоянок в Ленинграде у капитана всегда было много гостей. Он со всеми шутил, находил для каждого доброе слово. Такое же слово говорили о нем и те, с кем он общался.

Помнится, Восьмое марта, самый веселый мужской праздник, хоть и называется этот день женским, встречали мы в Атлантическом океане. За неделю до праздника капитан предложил всем командирам сложиться и купить подарки буфетчицам, которые обслуживали нас в кают-компании. Конечно, все с готовностью «скинулись» и купили в Лондоне, куда мы заходили, что-то из косметики. Девушки были несказанно рады подаркам и вниманию. Сделали им преподнесения торжественно, в присутствии всего командного состава. На глазах у буфетчиц выступили слезы.

Теперь время сказать, что вел разговор я об Араме Михайловиче Оганове, Герое Социалистического Труда, известнейшем человеке на морском флоте.

Однажды встретился я с ним, когда он выступал в другом качестве. Тут открылись его новые черты делового, знающего и гуманного человека.

В суде слушалось дело одного капитана, который посадил пароход на мель, причинил государству убытки. Капитан был молодой, допустил чисто штурманскую ошибку и признал свою вину.

По статье уголовного кодекса капитану грозила суровая кара — он мог получить срок от трех до пятидесяти лет.

Общественным защитником выступал капитан Оганов. Благодаря его аргументам, доказательствам и страстной защитной речи суд признал возможным осудить капитана условно, с выплатой назначенного штрафа.

Это было лучшее, на что можно было надеяться.

С приходом нового капитана ожидалась кают-компания. Его прихода ждали. Многие, окончив обед, не уходили и принимали участие в разговоре. У капитана в запасе было много случаев из его морской и сухопутной жизни. Во время войны служил он в гвардейских минометных частях. За плавание в мирные дни награжден орденом Ленина. Впрочем, относительно мирные. Он ходил не раз через заминированные моря в Корею, Вьетнам.

Какую бы книгу мы ни называли, капитан либо читал ее, либо слышал о ней. Но никогда не показывал это специально. Просто когда заходил разговор или спрашивали его, отвечал и поражал своей памятью и эрудицией.

Капитан постоянно советовался с полполитом, не всегда соглашаясь с его мнением, но слушая его внимательно.

Когда капитан уходил, вся команда просила его остаться с нами. Но долготелая привязанность к «своему» пароходу победила. В этом тоже сказался честный характер Будылкина: его ведь ждали и на старом пароходе.

Обед, ужин превращался в сдачу экзаменов для работников камбуза. Исчезли из меню «ленивые голубцы», «макаронны по-флотски», жареная колбаса — все то, что можно приготовить на скорую руку.

— Чем нас поражают создатели хорошего настроения? — говорил он, поднимая крышку с фарфоровой супницы.

Видно, поварское дело было воистину призванием капитана. Иногда он готовил обед сам и приглашал командиров к себе в каюту отведать какой-то особой ухи молочной, растегай, испеченного по его рецепту. Однажды из Лондона в Ленинград возвращался с нами Михаил Жаров. Он сразу же сдружился с капитаном. Возраста они были примерно одного, даже чем-то походили друг на друга — шутники, жизнелюбы. Большую часть времени Жаров пропадавал в капитанской каюте, а тот потчевал дорогого гостя разными яствами.

— Я и опомниться не успел, как мы доплыли до Ленинграда, — говорил на прощание знаменитый артист. — Признаться, я очень боялся кечки. А тут даже моря не заметил.

Поварская страсть как-то заслонила от нас другие качества капитана. Он был прекрасный судоводитель. Мы ни разу не выбились из расписания, штурманы побавались взглядом внимательных капитанских глаз, несли вахты бдительно и четко.

Помнится, как на командирском совещании капитан распушил третьего помощника, который немного запустил корректировку карт. Мы видели нашего мастера в новом для нас качестве — не балагура-шутника, подтрунивавшего над своей слабостью к поварскому искусству, а настоящего морского волка, дорожащего своей профессией.

Гонял капитан нас всех на учебных шлюпочных тревогах. Зато комиссия поставила оценку «отлично» на инспекторском смотре в Ленинграде.

Года через полтора узнали мы, что капитан Федор Степанов умер. Не было ни одного из нас, кто бы не воспринял эту весть с искренней печалью.

Краткую, но яркую страничку в жизнь нашего парохода вписал энергичный, шумливый, деловой и пробивной капитан. Фамилия и имя у него были звонкие — Лев Будылкин.

Благодаря его стараниям на нашей «старушке», проплававшей тридцать четыре года, впервые установили в столовой команды, красном уголке, кают-компания кондиционеры.

Лев Будылкин всю жизнь проплавал на грузовых судах, и работа на «белом» пароходе ему не понравилась. В то же время у него не было, как у многих других «временщиков», настроения: отплавать рейс-другой, а после хоть трава не расти.

Будылкин же говорил: «Я хоть только два месяца здесь капитан, но я капитан». И важно, что это говорилось у крупного начальства, где он требовал для судна кадры, которых всегда не хватало, модернизации во время очередного ремонта. И под его напором начальство шло навстречу. Перед самым Новым годом нам укомплектовали штат полностью, чего не было в течение нескольких лет. А в ремонтную ведомость включили установку кондиционеров для создания искусственного климата, которые, как уже говорились, теперь действуют.

Кто, когда и по какой причине назвал капитана Федора Степанова Федя-пуля, остается неразгаданной тайной. Но когда на капитанском мостике появился плотный человек с небольшим брюшком, которого не в силах был скрыть и просторный капитанский мундир, на теплоходе уже знали, что несколько рейсов будет плавать с нами Федя-пуля.

Новый мастер оказался радужным, добрым, жизнерадостным человеком. Единственная категория людей, которая его побавлялась и мечтала, чтобы он поскорее ушел с нашего парохода, были работники пищеблока. Новый капитан оказался искусным поваром. Говорили, что он в молодости окончил поварское училище.

Обходы судна капитан начинал с камбуза. Внимательно посмотрит вокруг, обязательно попробует подливку или соус.

У стола долго смотрит, как разделявают филейную вырезку. Не выдерживает, снимает китель, засучивает рукава и показывает, как следует работать ножом.

— Зайду еще. Пока до свидания, — прощается он.

Кормить стали нас гораздо вкуснее: ведь теперь каждый завтрак,

Хуже всего плавать с капитаном-педантом, человеком, придерживающимся только буквы инструкции.

Педантичен и аккуратен наш капитан был крайне. Того же и от других требовал. Но в его требовательности было нечто, унижавшее людей.

Григорий Калюжный

*
 Алма-Ата, Ташкент, Сухуми,
 Я спутал вас, как числа в сумме.
 Вы повисали на крыле,
 Включая небо, как реле.
 Вы подарили мне ночлеги,
 Где раскладушки — как телеги,
 Где, как пожарное табло,
 Мой лоб окрашивал стекло.
 Где в коридоре, словно в храме,
 Чабан не спал по телеграмме,
 Где был весь мир закрыт. Устало
 В пролете женщина стояла,
 Облокотившись на перила,
 В окно глядела и курила.
 Казалось мне, как сквозь вино,
 Что я люблю ее давно...
 Казалось, всей стихии злора
 Кипела. Мучась, как шаман,
 Вершил свой танец по сугробам
 Казахский затяжной буран.
 И в свете снежного скольженья,
 Явив неоновую черту,
 Обледеневшие виденья
 Без топлива, из темноты
 Касались торцевой плиты...
 Потом — в гостиничном трельяже
 Толпились хмуро экипажи,
 Снежком пружинистым пыля,
 Хмелея жадно от жилища.
 А утром с легкостью транжиря
 Бросалась шутками, кружила
 Вся жизнь ночного этажа,
 Электробритвами жуужжа.
 Я посмотрел в окно — невинно
 Лежала снежная равнина,
 До боли солнечно-бела,
 И словно за руку вела...

— У вас один ботинок начищен хуже другого, — сухо заметит он кому-нибудь.

— Галстук завязан слишком большим узлом, — процедит сквозь зубы.

Беда, если заметит, что на палубу кто-то вышел без фуражки, — тут же вызовет и распушит.

Горе тому, кого он неазлюбит. Помнится, совершали мы трехмесячный рейс до Антарктиды и обратно. Как кошка с собакой, жили все это время капитан и директор ресторана, спокойный добрый парень.

По приходе в порт капитан «накатал» рапорт, что хочет сократить вообще должность директора и берет-ся совмещать ее на вверенном ему судне, чем удивил не только команду, но и пароходное начальство.

Встречал много моряков, работавших вместе с ним. При одном упоминании имени капитана люди морщились.



Михаиле Гансовиче Каске я впервые узнал из художественной литературы. Виктор Конечский назвал его «тихим, как катафалк». Конечно, такое сравнение не очень лестно, но писатель сказал много хороших и добрых слов о капитане теплохода «Вацлав Воронский». Среднего роста, с добрым и умным лицом, спокойный и постоянно вставляющий в свою речь английские слова и фразы, — таким мне запомнился Каск. Его фамилия по-эстонски означает «береза». Но эстонского языка Михаил Гансович не знает. Отец у него эстонец, мать — русская. В Эстонии он почти не жил. Рядовым прошел всю войну и только в День Победы, 9 мая 1945 года, ему присвоили звание ефрейтора.

Есть люди, с которыми расстаешься без высоких слов, а потом при неожиданной встрече хочешь броситься к ним, крепко обнять. Капитан Каск относится к тем людям, с которыми встретиться всегда приятно.

Шли мы из Мурманска в Норвегию. Время осеннее. В Мурманске уже давно выпал снег. Норвегия

встретила нас неласково — ветром с мокрым снегом. Видимость плохая. Капитан сутками не уходил с мостика.

Пассажиры попались капризные, да еще, на беду, не было оркестра. Вечерами под радиолу танцевать никто не хотел. Коротали время туристы в основном в барах.

Теплоход впервые совершал подобный круиз. В основном мурманчане работали на линии Мурманск — Архангельск и за границу не ходили.

Михаил Гансович с интересом присматривался к новой работе — ведь нужно было выступать перед пассажирами, рассказывать об истории теплохода, присутствовать на вечерах.

Получалось каждый раз, что присутствие капитана оживляло вечера. Капитан как бы становился «гвоздем программы». Оказалось, что Каск обладает удивительным свойством располагать к себе людей. Пассажиры к нему тянулись, просили что-нибудь рассказать.

Команда души не чаяла в своем мастере. Умел он и деликатно подойти к каждому человеку. Полномочия и власть у него были большие, но ни разу не слышал я, чтобы он отдал распоряжение в форме приказа. И никогда не повышал голоса.

Если человек понимал по-английски, то Михаил Гансович изъяснялся с ним обязательно по-английски. Если тот плохо соображает, то переводил сказанное на русский язык, но в конце добавлял «плиз» — «пожалуйста».

В этой непрерывной тяге к изучению языка, необходимого в морской практике, сказывалась кипучая натура капитана. В молодости не сумел выучить как следует язык, приходилось каждодневно наверстывать упущенное. Впрочем, разговаривал он по-английски вполне прилично — не хуже, чем многие капитаны, с которыми мне приходилось работать.

Проработали мы вместе всего три недели. Признаться, жаль было расставаться с приятным человеком. Возможно, и не придется свидеться. Но зато телеграммами мы обмениваемся. Точки и тире несут в дальние моря приветы и пожелания счастливых плаваний,

Альбом

Л.

Я у Невы сижу низложенно,
 Как получивший в спину нож,
 А рядом женщина встревожена,
 Что на себя я непохож.
 Что стал я как сухое дерево,
 Что, может, в том ее вина,
 И, повинуясь ей, я делаю
 Все, как придумала она.
 Я кофе пью в старинной комнате.
 Я слушаю магнитофон.
 Я пристально в конфетном золоте
 Листаю старенький альбом.
 И на меня глядит в буденовке
 Из эскадрона юный дед.
 Военный съезд с лихой гармоникой,
 Где в гуще девушка-полпред.
 На взбухшей пашне трактор старенький
 Суровые большевики.
 Девчурка с мамой в тощих валенках
 И похоронные венки.
 Смеются с желтой фотокарточки
 Гурьбой, за месяц до войны,
 У школы девочки и мальчики —
 Цвет Петроградской стороны.
 Стоит курсант на фоне дворика,
 Держа равнение на флаг.
 И он же в звании полковника,
 А за спиной его рейхстаг.
 — Мой батя, —
 Мне она подсказывает, —
 Командовал полком «Катюш».
 А это — дочка большеглазая.
 — А это?
 — Это бывший муж.
 Он начинал как бог в художестве,
 А нынче конченный «алкаш».

А это я на первой должности,
 А это — новый корпус наш...
 Сквозь руки, слабые от близости,
 В домах, намеченных под снос,
 Я думаю о стихшем кризисе,
 Который целый год унес.
 Я думаю об алкоголике
 С талантом в замкнутом кругу,
 Что часто по какой-то логике
 Двух слов связать я не могу.
 И ничего не помогает:
 Ни труд, ни злость, ни летный стаж.
 Губной гармошкой трамвая
 Плывет мой купчинский пейзаж.
 Плывут последние тревоги,
 Похожие на канитель.
 И начал обивать пороги
 Капелью северный апрель.

*

Яснеющие сосны в синеве
 Фундаментальны тем, что я мгновенен,
 Но что-то есть бессмертное во мне,
 Такое, что я скрыть неправоможен.
 Что делать с этим посреди земли,
 Где я почти что никого не знаю,
 Где дни летят и падают вдали,
 Похожие на скошенную стаю.
 И я боюсь — бесследно унесу
 Все то, что мне давалось по кристаллу,
 Метаясь, как в пылающем лесу,
 В той глухоте, где столько не стало.
 Сверкая, время тает надо мной.
 Суставы гнет негаданная ноша.
 И я играю с этою бедой
 С горячечной отвагою Гавроша...
 А мне твердят, что с тенью бой веду,
 Что надо жизнь свою устроить здраво.
 Я все отдам. И лишь тогда уйду.
 Иначе просто не имею права.

Вс. Рождественский

АКТЕРСКОЕ ДЕТО

(ИЗ КНИГИ „ШКАТУЛКА ПАМЯТИ“)



Рисунок Олега Зуева



Э то очень давняя история. И быть может, потому, что так далеко отодвинута она в прошлое, все мне кажется в ней залитым горячим южным солнцем, словно и не выдалось тогда ни единого дождливого дня.

Была весна конца двадцатых годов, был город, мокрый, свежий, вымытый ручейками тающего снега, была молодость, не знающая тревог и забот. И был мир, созданный воображением, где все представлялось ясным и простым. Только что победно отшумела гражданская война, страна распрямила натруженные плечи — и всюду что-то строилось, перестраивалось на новый и уж, конечно, лучший лад. И эта весна, как-то сразу хлынувшая на огромный город, казалась не только привычным обновлением природы: и небо было другим, и серые дома вдоль оттаявших каналов, и еще оголенные деревья в Летнем саду, и невские льдины, плывущие с просторов студеного Ладожского озера...

Я переживал первое опьянение литературными успехами, правда, очень скромными, известными только читателям студенческого журнала. Но все же два моих стихотворения были напечатаны чуть ли не на первой странице и снабжены затейливой виньеткой. Было от чего ликовать и считать себя именинником!

Я шел по набережной Невы в распахнутом пальто и, не обращая внимания на прохожих, размахивал тоненькой, свернутой в трубочку журнальной тетрадкой, нараспев бормоча свои стихи, тотчас же вставшие в моем воображении в виде ровно и четко отпечатанных строчек. Потом останавливался, развертывал нужную страницу и, убедившись, что все правильно, все именно так, все свершилось наяву, продолжал путь. В голове у меня, сливаясь с ритмами стихов, грохотала, звенела, шумела вся сумятица звуков разбуженного весной города: сочно и четко цокали по торцам копыта извозчичьих кляч, визгливо пел на закруглениях трамвай, дворники шаркали метлой по просыхающим плитам и отовсюду плыл неясный гул уличной светливой жизни.

Я торопился. Мне надо было успеть на занятия в одну из многочисленных в то время театральных студий.

Здесь я вынужден сделать небольшое отступление. Всем, пережившим эти годы, памятно, с какой жадностью вернувшись с фронтов молодежь хваталась за возможность учиться, наверстать время, ушедшее на военные дороги и перепутья. Были переполнены не только аудитории вузов, но и всевозможные курсы и вечерние школы, не говоря уже о рабфаках при возрождающихся заводах. Немало было забот и у молодежи, жаждавшей получить актерское образование. Еще не существовало Государственного театрального института, но школы, возникающие при театрах, и частные студии, руководимые кем-либо из известных, а то и вовсе неизвестных актеров, росли, как грибы. Они называли себя то «мастерскими», то «студиями», то «палестрами», то просто «художественными кружками». С одним из таких частных учебных заведений я и свел в то время тесное знакомство. Руководил им бывший актер Художественного театра, убежденный поклонник системы Станиславского, Александр Николаевич Морозов. В обиходе называли его любимое детище «студией Морозова».

В тот день, с которого начался мой рассказ, после окончания очередных занятий Александр Николаевич отозвал меня в сторону, и между нами произошел такой разговор:

— Как вы думаете, дорогой, наша студия за три года достигла ощутимых успехов? Имею я право назвать ее ТАН, то есть Театр ансамбля?

— Мне кажется, да, Александр Николаевич. Только это очень молодой и совсем неопытный коллектив. Ему будет нелегко получить признание...

— Вот, вот! Именно это я и хотел от вас услышать. Мы молоды, в этом наша слабость и сила. И я решил для нашей молодежи устроить боевое крещение. Пора выходить ей в люди. Не в Петрограде, разумеется, где нас сейчас же заклюют опытные профессионалы, а в провинции. Короче говоря, задумал я летом двинуться со старшим моим курсом в гастрольную поездку. И знаете куда? На благословенный юг! Хотите ехать с нами к Черному морю?

В тот же вечер до поздней ночи мы обсуждали и условия будущей поездки, и маршруты, и возможности нашей труппы.

Надо было подновить старое и подготовить хотя бы две новых пьесы, не очень сложных, достаточно доходчивых, но вместе с тем не столь уже примитивных, «любовых», приехавших за последние годы. Хотелось включить что-нибудь из произведений советских авторов. А их в то время было обидно мало. Советская драматургия делала свои первые шаги. Еще не было ни лавреневского «Разлома», ни «Любови Яровой» Тренева. Пришлось довольствоваться довольно посредственной пьесой «Черная пена», повествующей о том, как разгулявшаяся стихия напала чуть не утопила в своей накипи простую и честную рабочую душу и как спасло эту душу здоровое классовое сознание. В этой мелодраме имелось несколько весьма эффектных обличительных монологов, а заключительная сцена, изображавшая разгром эмпанов и спекулянтов, неизменно вызывала восторг зрительного зала.

С костюмами и реквизитом дело обстояло более или менее благополучно. А вся деловая, организационная часть предстоящих гастролей довольно удачно и загодя была приведена в порядок неутомимым и энергичным Александром Николаевичем — ему удалось списаться с целым рядом южных черноморских городов, которые, видимо, соблазнились возможностью увидеть гастроль молодёжного театра, и притом какого — ленинградского!

Строго говоря, мы совсем не заслуживали такой чести, и внимание к нам объяснялось очень простой причиной: послевоенная страна только-только начинала свою театральную жизнь, и провинциальные города, лишенные собственных стационаров, принуждены были довольствоваться редкими гастрольными случайными заезжими трупп. А жажда театральных зрелищ была велика.

Первым городом, откликнувшимся на наше предложение, был Новороссийск. Это нас вполне устраивало. Город большой, портовый, рабочий — в нем два огромных цементных завода, несколько клубов, есть учащая молодежь.

Итак, решено — начинаем гастроль с Новороссийска!

Новороссийск — город необычный, и подобного ему, пожалуй, не сыщешь на всем Черноморском побережье. Просторная, глубокая бухта, далеко вдающаяся в берег, могла бы вместить весь Черноморский флот, не говоря уж о немалом количестве тор-

говых судов. И все же она не пользуется у моряков доброй славой. Причина этому знаменитый «бора». Что такое «бора», хорошо рассказал Константин Паустовский в повести «Черное море». Это юр-ост внезапно и страшной силы. Ветра закубанских степей, прорвавшиеся в Кавказское предгорье и стесненные горными откосами, ищут выхода к морскому простору и находят его в единственном месте — в узком ущелье над самым Новороссийском. Тугие воздушные массы, подобно сжатой, а потом отпущенной пружине, в мгновенном и яростном порыве с высоты окрестных гор рушатся на бухту и город. Сила этого воздухопада в зимнее время способна выбрасывать суда на берег и опрокидывать пустые товарные вагоны. Но и летом она приносит немало неприятностей, хотя напоминает о себе не так часто и не столь сокрушительно. Дует «бора» часа три подряд, а если не остановится, то и шесть часов, и целые сутки. Бывает, что и дольше. Налетает внезапно, загоняя все живое под крышу, и столь же внезапно останавливает свой бешеный порыв. Бухта, бурлившая как кипяток, снова становится тихой, спокойно отражающей голубое южное небо. И словно в награду за перенесенные волнения и тревоги, весь город жадно пьет тогда льющийся с окрестных гор жвительный озон. А в озоне есть немалая доля «веселящего газа». И в эти блаженные часы становится Новороссийск поистине необычайным городом. Высыпавший на улицы народ охвачен стихийным весельем. Пестрая, оживленная толпа, отложив очередные дела и заботы, спешит насладиться часами безмятежного отдыха.

Новороссийск — вообще город контрастов: неистовый ветер и блаженная тишина, густая синева бухты и лысые горные склоны, голый известковый камень и жидкая зелень акаций, приземистые мазанки обывателей и гиганты новостроек. Вот в этом странном городе и началась наша черноморская актерская эпопея.

Поначалу все было похоже на южную идиллию. Поместили нас в пустующих классах обширной и благоустроенной школы. Было решено три дня отдать полному отдыху. А на улицах уже висели цветные афиши о будущих спектаклях ТАНы, в списке актеров, в самом конце, значилась и моя фамилия: «Вступительное слово такого-то». Занятия мы были только по утрам, краткими прогоночными репетициями, а остальное время было предоставлено в полное наше распоряжение. Мы бродили по городу, купались в море, катались на шлюпках по бухте и чувствовали себя беспечными курортниками. Обеденный час собирал нас у некоей Аграфены Семеновны, местной обывательницы, кубанской казачки, которая охотно, за сравнительно небольшую мзду, взяла на пропитание всю нашу шумную, обладавшую завидным молодым аппетитом актерскую семью. Мы усаживались в саду за длинный стол под густым навесом переплетающегося над нашими головами винограда. Буйствующее южное солнце прорывалось отдельными лучами сквозь вырезную листву и яркими пятнами пестрило домотканую скатерть. Дрожащими зайчиками играло оно на тарелках, на графинах с водой, на боках огромной глиняной миски с дымящимся украинским борщом. Кормила нас Аграфена Семеновна обильно и поистине вдохновенно. Очевидно, наше шумное нашествие на ее тихий домишко было праздничным, волнующим событием в ее мирной, ничем не примечательной вдовьей жизни. Толстая, разумынявившаяся, как помидор, она священнодействовала во главе стола, как маршалский жезл держа огромную разливательную

ложку. Ей, видимо, льстило то, что у нее столуются «ахтеры», и все бабы околотка остро завидовали ей. Мы снабжали свою хозяйку контрамарками на спектакли, и она в шуршащем, негнущемся платье неизменно маячила в первом ряду с блаженным и, по правде сказать, малоосмысленным выражением на широченном добродушном лице.

В краткие дни отдыха я вдоволь нагулялся по холмистому городу и его оголенным знойным окрестностям, любясь голубой бухтой с высоты сухих крутобоких холмов. Бухта выглядела поистине великолепно. В те годы была она очень оживленной, всегда толпилось в ней немало рыбацких судов, грузовых пароходов, наших и иностранных. За пшеницей советского Юга приходили сюда греки, турки, итальянцы, на портовых причалах слышалась разноязычная речь, в ближайших кабачках сидели за столиками матросы разных наций. Тут же раскинулся шумный и грязноватый базар, где на открытом воздухе что-то жарили, пекли, цедили домашнее вино прямо из бочек — и острый запах лука, винной гущи и морских водорослей был слышен еще издалека. По бухте непрестанно сновали шлюпки. Грязноватые, вонющие горючим катерки, бойко стуча мотором, перевозили народ с одного берега на другой, огибая тяжелые, стоящие на якорях морские громадины.

До начала спектаклей жизнь наша в Новороссийске текла идиллически: яркая синева неба, прогулки, кушанье, обилие черешен на базаре...

Состоялось и интересное знакомство. Наше актерское общежитие посетил директор бывшей здешней гимназии, заведующий самой большой школой города. Он оказался страстным любителем театрального искусства и, как выяснилось в дальнейшем, хорошим знатоком и ценителем поэзии. Он охотно делился с нами своими обширными краеведческими познаниями. Благодаря ему мы ознакомились со всеми особенностями и достопримечательностями Новороссийского края. Но еще больший интерес проявила мужская молодежная часть нашего коллектива к его дочери, семнадцатилетней Лере (сокращенное от Гликерии). К ней совершенно не подходило это необычное имя — дань экзотическим вкусам отца. Да и принципы «высококультурного» воспитания, которым усердно занялся рано овдовевший отец, оказали мало влияния на его единственную и горячо любимую дочь. Лера росла на вольной воле, как истинное дитя моря, солнца и гор. Это была рослая, крепкая девушка, необычайно ловкая и сильная, дочерна прокаленная южным загаром. Плавала она как дельфин, а на деревья влезала с быстротой белки. Любо было смотреть, как она, прыгая с камня на камень, цепляясь за каждый выступ, взбиралась на отвесные скалы с легкостью, которой можно было только позавидовать. Большие, слегка насмешливые глаза так и сверкали из-под густых по-южному бровей, тонкий с легкой горбинкой нос и смугловатая впалость плотно обтянутых скул придавали особое очарование ее несколько дикому и совсем уж не городскому облику. Скорее всего ее можно было принять за девчонку-рыбачку, выросшую на ветру, в соленых брызгах прибоя. Она была олицетворением свежести, здоровья и какого-то первобытного счастья.

Лера скоро прижилась в нашей среде и стала незаменимым спутником и товарищем не только в общих прогулках, но и в повседневной работе по подготовке сцены — надо сказать, что подсобных рабочих у нас не было, и все делалось собственными ру-

ками. Мы уже не могли представить себе ни одного спектакля без ее деятельного закулисного участия. Она помогала ставить декорации, ловко чинила реквизит, а в конце концов овладела искусством парикмахерского и гримировального цеха. И все это доставляло ей живейшее удовольствие. Но не меньшим удовольствием было и смотреть на ее ловкие и легкие движения.

Бывало и так, что Лера выручала нас в затруднительных случаях, правда, носивших порой анекдотический характер.

Шел спектакль на одном из цементных заводов, в саду на открытой сцене. В антракте, перед началом второго действия, пробежал легкий ветерок. Мы, занятые подготовкой сцены, не обратили на него внимания. Но за кулисы, запыхавшись, ворвалась Лерка, сидевшая до этого в одном из первых рядов. «Что вы делаете, это же бора!» — закричала она. Не успели мы сообразить, в чем дело, как наш занавес вздулся огромным парусом, грозя распахнуть всю сцену. Лерка ухватила за его нижний край и повисла на нем. Кое-кто ринулся ей на помощь, остальные спешно утаскивали за кулисы расставленную было бутафорию. А нас, повисших на занавесе, уже мотало из стороны в сторону, валило с ног, чуть не поднимало на воздух. Но мы не прервали борьбы с вырвавшимся из рук полотнищем. Дело в том, что на сцене — для большей иллюзии — горела самая настоящая керосиновая лампа, опрокинь ее ветер — мог бы вспыхнуть пожар. Только когда ее унесли, мы вздохнули свободнее. Лерка, которую взбесившийся занавес порядком повозил по полу, встала, отряхнувшись, как ни в чем не бывало, и обнаружила в широкой улыбке все свои сверкающие зубы. Голые ее колени были в царапинах.

Я рассказал о Гликерии более подробно, потому что всем своим обликом и юной пылкостью души она являлась как бы ярким воплощением солнечного гостеприимного черноморского юга. За время нашего повседневного общения с нею она стала полноправным членом актерского содружества, хотя была только неизменной зрительницей, добровольной работницей сцены и пылкой предводительницей многочисленных друзей театра комсомольского возраста.

Наши театральные дела в Новороссийске шли успешно — настолько успешно, что вместо предполагаемых двух недель мы остались здесь на целый месяц. Изголодавшаяся по зрелищам публика усердно посещала наши спектакли. Александр Николаевич Морозов жалел только об одном: мало привезли мы с собой пшес. Играть в таких условиях было радостью.

Как ни было жалко расставаться с гостеприимным и добродушным Новороссийском, надо было двигаться дальше. На общем собрании было решено всей группой отправиться с ближайшим рейсовым пароходом. А основной наш груз — декорации и реквизит должны были сутками позже доставить на более скромном паровом суденышке по удешевленному тарифу.

Когда выходили из бухты, я первый заметил мелькающую в волнах черную точку. Дельфин? Нет, не очень похоже. Когда подошли ближе, стала видна курчавая голова и обнаженное загорелое плечо. Да, да, конечно, это Лерка! Она плыла наперерез нашему курсу и махала нам рукой.

Ближайшим городком на нашем пути, где решено было сделать остановку, оказался Армавир.

Армавир в те времена был городом весьма оживленным и, по тамошним масштабам, довольно значительным. До революции считался он центром хлебной и скотопродонной торговли и до известной степени сохранил свой бойкий торгашеский облик. Почему-то населяли его преимущественно армяне — народ деятельный, практический, с крепко устоявшимся вековым укладом и своеобразными обычаями. На пыльных и довольно грязноватых улицах всегда было шумно и весело, и ничто уже не напоминало здесь идиллической тишины и густой зелени прикубанских станиц. В прежние времена тон в городе задавало купечество, по сути дела и выстроившее его среди этих холмистых равнин. Что-то от прежнего духа сохранилось и в эпоху нэпа, тем более что Армавир сравнительно быстро залечил раны недавней гражданской войны. Сюда опять широкой волной хлынуло самое пестрое население, возвращаясь на прежде покинутые места. Армавир нельзя было назвать красивым. Его двухэтажные, грязноватые кирпичные здания и торговые площади выглядели скучновато. Своеобразие этого города было в том, что вся домашняя жизнь его проходила на улице, в жидкой тени пропыленных акаций, куда выносились из домов не только стулья, но и мягкие диваны, где всегда стоял неумолчный гул разговоров, спор, перебранок — и преимущественно на армянском языке. Сейчас, конечно, город изменился, стал неузнаваемым, как и все более или менее крупные города. Наш скромный театр и здесь сблизился с местной интеллигенцией. Все это были интересные, каждый по-своему, люди — врачи, педагоги, зачинатели новой, советской культуры в своем крае.

Все они оказались любителями сцены, понимали ее, и, в сущности, для них нам опять пришлось перестраивать свой репертуар. Более культурным оказалось и местное идеологическое руководство. Все это создавало благоприятную обстановку для нашего театра — тем паче что он оказался единственным более или менее серьезным театральным коллективом в городе, который до этого посещали лишь наскоро сколоченные бродячие труппы, преимущественно цирк и оперетта не очень высокого качества. Словом, в Армавире мы жили нормальной жизнью и не могли пожаловаться на отъездливость аудитории. Город оказался «театральным».

Но и базарная публика предъявляла к нам свои требования. Нельзя было забывать и о ней. Для нее ставили мы легкие сатирические скетчи, часто рождавшиеся в недрах самой труппы, силами нашей самодеятельности. Чаще всего эти сценические миниатюры шли по линии обличения толстосумства и мещанства, пережитков собственнической психологии. И забавно было видеть, как в зрительном зале яростно и самозабвенно аплодировали какому-нибудь очередному «разоблачению» самые типичные толстосумы и спекулянты базарного мира, весь внешний облик которых даже не нуждался в дополнительном гриме. О неотразимо заразительная сила искусства!

У меня в памяти остался забавный эпизод, ознаменовавший последние дни нашего пребывания в Армавире.

Яркий и душноватый августовский день лениво перевалил за половину. Было еще жарко, и в жидкой, расплесканной по сухой земле тени акаций

некуда было спрятаться от все еще беспощадного солнца. Сидя в деревянной будочке для кассира, Ирина Кравченко, дежурная в этот день, изнывала от жары и, как скворец в скворешне, то и дело высовывалась из своего круглого окошечка, чтобы хоть немного глотнуть свежего воздуха. Ей было и жарко, и скучно. Она только что открыла кассу и с нетерпением ждала первого посетителя. Но, как на грех, ни единой живой души не показывалось у ворот городского сада. Не было никого и на ближайших улицах. Город словно вымер. Все живое спасалось от солнца. Неподалеку, на садовых скамейках, расположились и актеры, лениво продолжая еще с утра начавшийся разговор: все возможности репертуара давно уже исчерпаны, сборы падают — пора, видимо, собираться домой, на север.

У ворот показалась странная фигура, направлявшаяся к кассовой будке. Это был плотный толстяк невысокого роста, горбоносый, с мохнатыми, сросшимися над переносицей бровями. Черные, как маслины, несколько выпученные глаза и жесткая курчавость бороды выдавали его восточное происхождение. На нем был длиннополый сюртук нараспашку, брюшко обтягивал лиловый шелковый жилет, расшитый цветочками, а по жилету, во всю его ширину, провисала массивная часовая цепочка, отягощенная немалым количеством различных брелоков. В мясистой руке он держал толстую витую трость. Соломенная шляпа была сдвинута на затылок, по густо загорелому лбу то и дело скатывались крупные капли пота.

Человек степенно и даже несколько торжественно наклонился к окошечку кассы.

— Вижу, сидит в клетке интересная птичка и не знает, куда ей от жары деваться. Ай-яй-яй!

Кравченко растерялась и не знала, что ему ответить. А толстяк невозмутимо продолжал:

— Вот, милый барышня, нэ хлопай глазками, а зови, кто у вас тут самый главный.

Александр Николаевич вовремя подошел к будке.

— А что вам, в сущности, угодно? По какому праву...

— Стой, стой, не кипятись, друг мой. Есть деловой вопрос.

Лицо толстяка сразу стало серьезным и несколько озабоченным.

— Как дела, дорогой? Стали вы, как я слышал, «гореть» понемногу. Плохо торгуете, и кредита нет. Ай-яй-яй! Так вот, имею поинтересоваться, сколько вам полный сбор дает?

Морозов, несколько растерявшийся, машинально назвал цифру.

— Ай-яй! Не густо, как говорят по-русски. Хорошо еще, если и половину за вечер соберете. Не умеете дело вести, а еще актеры! Ну так вот: беру у вас все билеты на завтра. Всю кассу!

— Как так? Вы один?

— Ну да, один! — спокойно ответил толстяк и вытаскил плотный бумажник. — Беру один — для себя и моих друзей. Дочка выходит замуж, и желаю я для всей родни сделать удовольствие. Пускай весь базар лопнет от зависти! Арам Суранянц весь театр для себя одного купил! Здорово, а? Пусть все знают, что такое армянская свадьба! Ну как, начальник?

— Позвольте...

— Нэ, нэ позволю! Вот тебе полный сбор — и без всякого там акциза. Билетов никому не продавать! Все мон. В восемь часов начало, как всегда... Свет за мой счет. У ворот племянников поставлю — билеты проверять. Все честь честью. Не беспокойся,

дорогой, у Арама всегда все в порядке. Весь город знает. Песю играй, какую хочешь. Только не «Женитьбу» гражданина Гоголя. Там жених сбежал, а это не годится. У меня жених — во!

И он смачно поцеловал свой толстый указательный палец.

Все это походило бы на анекдот, если бы не произошло в действительности. В то время в театральном быту случалось нечто и почуднее. Самое удивительное, что местный горсовет ничуть этому не удивился. Он сразу же дал разрешение. Все в порядке вещей — армянская свадьба!

Полный сбор был нам в те дни весьма и весьма кстати — как раз перед обратной дорогой.

Короче говоря, сделка была заключена ко взаимному удовольствию.

На следующий день, за полчаса до начала спектакля, по улице, ведущей к воротам городского сада, показалась необычайная процессия, окруженная бегущими во всю прыть и звонко горлающими мальчишками. По крупным булыжникам покато спуска, громыхая, мчалась извозчичья пролетка, на которой, стоя и держась левой рукой за плечо кучера, смуглый молодой человек в барашковой шапке, весь в развевающихся пестрых лентах, отчаянно размахивал огромным букетом и что-то кричал во все горло. Собравшаяся толпа отвечала ему столь же радостно и возбужденно.

Это был шафер невесты, передовой всей процессии.

За ним, на некотором расстоянии, следовала столь же пестро разукрашенная коляска, в которой важно восседал наш толстый знакомец со своей сухопарой супругой в широченном черном шелковом платье. За ними — еще более пышно убранный экипаж с женихом и невестой, а следом бесконечной линией — конца-края не видно — попевали, так же вскачь, пролетки бесчисленных родственников и знакомых. Очевидно, собраны были извозчики со всего города. Да их, видимо, не хватило, потому что весь этот свадебный поезд сопровождала бегущая изо всех сил толпа, где уже трудно было разобрать, кто является родственником, а кто просто из любопытства примкнул по дороге.

Экипажи, описав широкий полукруг, начали останавливаться у ворот городского сада. Пестрое, разубранное лентами скопище приехавших зашумело у входа. «Племянники» ловко распоряжались на контроле, пропуская своих и весьма ретиво отталкивая посторонних. Но под конец, как я заметил, они стали более снисходительными, и немало любопытствующих зевак успело протиснуться в сад. А что касается мальчишек и девчонок, то они густыми гирляндами повисли на решетчатой ограде.

Гости шумно рассаживались перед открытой эстрадой. Их было много — яблоку негде упасть, и все ждали, когда раздернется занавес. Невеста с женихом, их родители и близкие родственники, естественно, сидели в первом ряду.

Помню, мы испытывали немалое смущение, начиная спектакль. Решено было показать этим необычным зрителям второй акт одной из комедий, где действие происходило в отдельном кабинете ресторана во время кутежа спекулянтской компании, с плясками и цыганским хором. Нас несколько тревожил финал этой сцены. В разгар веселья должна была появиться милиция — как символ справедливого возмездия. Мы спрашивали себя, как отнесется публика к такому завершению буйного веселья? Ведь добрая половина ее могла увидеть

в этом неприятный для себя намек — и не без достаточных оснований. Но наш руководитель был иного мнения: надо обязательно играть до конца. Он даже видел особую гражданскую доблесть в том, чтобы «бросить правду в лицо». Но актеры, видимо, побаивались возможной и весьма нежелательной реакции зрителей, по-южному горячих и несдержанных в своих примитивных чувствах. Признаться, и у меня было неспокойно на душе, потому что именно мне по ходу действия суждено было изображать законное возмездие, облаченное в миллицейскую форму.

Но спектакль так или иначе начался. На сцене бушевали разгулявшиеся страсти подвыпивших «рыцарей наживы», хором орались песни, под жиденькое треньканье пианино неистовым пестрым вихрем кружилась цыганская пляска. Весь зрительный зал пришел в необычайное возбуждение. Аплодисменты сыпались бурным, неударимым потоком, порою заглушая реплики действующих лиц. Слышались поощряющие возгласы по-армянски и по-русски, кое-кто уже начал притопывать в такт, многие срывались со своих мест и по среднему проходу бежали к самой рампе. Шум стоял невообразимый!

Я стоял за кулисами и с замиранием сердца ждал, когда веселье на сцене достигнет апогея. Мне надлежало резко распахнуть двери и на глубокой внезапной паузе среди оцепеневших в ужасе спекулянтов произнести торжественно и веско всего два слова: «Вы арестованы». И на этом должен был идти занавес, совершенно так же, как в немой сцене «Ревизора». Автор пьесы, как видите, свято следовал классическим образцам.

Роковая минута приближалась — и я, право, не знаю, что произошло бы дальше, если бы не случилось нечто неожиданное. В разгар сценического веселья отец невесты внезапно вскочил со своего места, одним прыжком очутился на сцене в могучим голосом покрыл всю сумятицу, происшедшую на подмостках:

— Стой! Стой! Ай-яй-яй! Разве так пляшут? Вот сейчас мы вам покажем, что такое кавказская пляска!

И тотчас, словно по его команде, на сцену ринулись десятка два курчавоволосых смуглых парней в гразничных черкесках. Откуда ни возьмись появился и оркестр. Ударили бубны, гнусливо заняли скрипки, визгливо завывли не то флейты, не то кларнеты. И началось! Подмостки ходуном ходили под ногами разгулявшихся танцоров. Парни то, сцепившись руками, потрясали грохотом всю сцену, то по-лебединому плыли в лезгинке, раскинув широкие рукава, то опять дружным топотом били в пол, как в тугой бубен. В их круг выскочила невеста с подружками — и вся сцена заходила колесом в ритме однообразного, но четкого бурного восточного танца.

А зрители, повскакав с мест, перепрыгивая через опрокинутые скамейки, лезли вплотную к рампе и ложились на нее животами. Они жестиками, криками, свистом поощряли танцующих.

Я уж не помню, как в конце концов удалось задержать занавес и перейти к антракту. Но какой же это был антракт?! О продолжении спектакля нечего было и думать, хотя в дальнейшем предполагалось концертное отделение. Публика, постепенно остывая от пережитых волнений, разбрелась по дорожкам уже потемневшего сада. Туземный оркестр продолжал играть — на этот раз мелодично-тягучие восточные пьесы. А расторопные «племянники»

живо раздвинули скамейки перед сценой, образовав довольно обширное свободное пространство, которое тотчас же было накрыто быстро раскатанным цветистым ковром. Появились огромные блюда с рисом и дымящейся бараниной вперемежку с расставленными всюду вместительными кувшинами вина. Середину ковра венчал многобашенный торт, на котором красовалась искусно выведенная глазурью приветственная армянская вязь. Собравшиеся гости уселись прямо на ковре, окружив его тесным кольцом. Актеров, еще не успевших толком разгримироваться, чуть не силком притащили из-за кулис и усадили на почетное место. Встал тамада — дядя невесты, здоровенный базарный мясник, и, важно разгладив всякие усы, провозгласил первый тост.

Снова грянули бубны, запели трубы — и пир начался.

Тут уж трудно было бы вспомнить, что было сказано, сколько было выпито, каким хором пелись песни, в каких плясках носились по кругу вдохновенные кавказскими винами танцоры. К чести присутствующих надо сказать, что отец невесты, хозяин пиршества, с помощью «племянников» легко поддерживал надлежащий порядок. Всякого начинающего бурно жестикулировать и выкрикивать несвязное тотчас подхватывали «под ручки» и уводили в глубь сада «проветриться». От некоторых, начинавших «увлекаться», осторожно и незаметно отставляли подальше бутылки, а кое-где подменяли их спастительным нарзаном.

Привлеченная не смолкающим гулом настоящая милиция могла убедиться в том, что на свадьбе у Арама Сураянца, как он и обещал, «все в полном порядке».

Ровно в одиннадцать часов — привычное окончание всякого спектакля — толстяк Арам поднялся на скамейку и с бокалом в руке громогласно поблагодарил собравшихся «за уважение» и пожелал всем им спокойной ночи. Оркестр грянул прощальный марш. Гости начали расходиться. Большинство из них шло уже нетвердой походкой, а кое-кого справа и слева поддерживали более устойчивые друзья. Терпеливо ждавшие извозчики, которым, кстати сказать, тоже в свое время было вынесено угощение, стали лихо подкатывать к воротам городского сада. Начался разъезд при ярком свете южной луны, кладущей на мостовую длинные тени пирамидальных тополей. И долго еще затихали вдали четкий стук копыт и дребезжание пролетов.

Прошло много лет с тех пор. Мои сотоварищи по театру ТАН, просуществовавшему едва ли два-три года, выросли творчески, стали профессиональными актерами. Некоторых из них я видел на сцене. Дороги их разошлись по разным путям искусства, по разным его театральным жанрам. Кое-кто впоследствии покинул театр, некоторых унесла война, а те, кто остался жив, с теплым чувством — не сомневаюсь в этом — вспоминают нашу южную поездку и то чувство юношеского дружества, которое помогало нам делить радости и невзгоды первого самостоятельного труда.

Память человеческая не умеет быть беспристрастной. Она охотнее всего возвращается к тем страницам прошлого, которые залиты солнцем бездумного, беспечного существования, и не любит дождливой, пасмурной погоды.

Может быть, в этом есть своя мудрость...

Поэты—участники VI Всесоюзного совещания молодых писателей

Айдын Ханмагомедов

Рязанские Березники

*С твоей избенкой сверстники,
сродни душе моей,
раскинулись Березники
на скатерти полей.*

*Под это небо звездное,
надутое, как шар,
пришел певцом березы я
с поклоном от чинара.
Иду легко, раскованно
к оврагу меж лугов,
где речка упакована
руками берегов.*

*Там, чуть согнувшись в пояс
от девичьей тоски,
осока моет волосы
на краешке реки.*

*От жалости ли, милости
целую мертвый лист.*

*Деревья пирамидными
пожарами зажглись.*

*С них рвутся листья пышные,
но не печалься ты —
на их места
несбывшиеся*

лепятся мечты.

Веселый романс

*Чтобы радости голос не стих,
чтоб звенели минуты безделья,
весели и меня и других...*

*Но от песен не требуй веселья.
Я люблю твой раскатистый смех,
лучезарную яркость румянца.
Я смеюсь музыкальнее всех...*

Только песни не смеют смеяться.

*Если даже со мною беда,
если даже во всем неудача,
я могу улыбаться всегда...*

Только петь не умею не плача.

Из шотландских народных баллад

Элисон Грос

На Элисон Грос посмотреть-то страшно,
Лютая ведьма — Элисон Грос.
Она меня заманила в башню,
А может, нечистый меня занес.

Пурпурный плащ, как пламя яркий,
Она показывала, дразня.
— Уж я не поспею на подарки,
А ты, красавчик, люби меня.

— Прочь, ведьма! Убирайся прочь!
Других на удочку лови!
Ни через год, ни в эту ночь
Не купишь ты моей любви!

Она принесла золотую чашу,
Сияла чаша при свете дня.
— Твой дом я золотом украшу,
А ты, красавчик, люби меня.

— Прочь, ведьма! Убирайся прочь!
Других на удочку лови!
Ни через год, ни в эту ночь
Не купишь ты моей любви!

Трижды она повернулась кругом
И протрубила в зеленый рог.
Клялась луной, что покончит со мной,
Прежде чем выйду я за порог.

Она бормотала лихие слова,
Она кружилась быстрее, быстрее.
И вот помутилась моя голова,
Я к ведьме шагнул — и упал перед ней.

И сделался я безобразным червем.
По ветке дубовой ползаю я.
Меня навестить в лесу глухом
Приходит Мейзри, сестра моя.

Она меня чешет серебряным гребнем
И проливает потоки слез,
Но лучше карабкаться по деревьям,
Чем целоваться с Элисон Грос.

— Прочь, ведьма! Убирайся прочь!
Других на удочку лови!
Ни через год, ни в эту ночь
Не купишь ты моей любви!

Том Рифмоплет

Однажды, словно бы во сне,
Наездницу увидел Том.
Она на белом скакуне
Вдоль речки ехала верхом.

Одета в шелк была она,
Зеленый, как трава лугов,
И в лад на сбруе скакуна
Звенела сотня бубенцов.

Взгляделся Том, и снял берет,
И на колени стал тотчас:
— Мария-дева, вечный свет,
Ты посетила грешных нас!

— Встань, честный Том, надень берет
И на меня смотри смелей.
Я не Мария-дева, нет,
Я только королева фей.

Хочу, чтоб ты играл и пел.
Сыграй и спой мне, честный Том.
А если ловок ты и смел,
То поцелуй меня потом.

— Пускай погибель ждет меня,
Я сроду трусом не бывал! —
Она легко сошла с коня,
И он ее поцеловал.

— Ну, честный Том, теперь ты мой
И вместе с нами будешь жить.
В моих владеньях под землей
Семь лет ты должен прослужить.

Том даме стремя подержал,
Уселся позади седла,
И в тот же миг скакун заржал
И прынул в воздух, как стрела.

Они неслись вперед, вперед
На белоснежном скакуне,
Они окончили полет
В пустынной мрачной стороне.

— Мой честный Том, с коня сойди,
Но от меня ни шагу прочь.
Три чуда ждут нас впереди,
Нелегкой будет эта ночь.

Ты видишь длинный узкий путь,
Прямой, но тесный как нора?
Там тернии растут по груди,
И это правый путь Добра.

Ты видишь тот просторный путь
Среди цветов, травы и мха?
Он глаз твой может обмануть,
Но это ложный путь Греха.

А вот и наш укромный путь
Под низким пологом ветвей.
Мой честный Том, отважен будь,
Ты едешь в королевство фей.

Теперь молчи, мой честный Том,
Молчи, что б ни было с тобой.
Кто здесь обмолвится словом,
Тот не вернется в край родной.

Они торопят скакуна,
Он реки переходит вброд.
Померкли солнце и луна,
Лишь море дальше ревет.

Густая мгла вокруг легла,
А волны темные красны.
Вся кровь, что льется на земле,
Стекает в реки той страны.

Но вот они в саду густом,
И говорит она ему:
— Съешь яблоко, мой честный Том,
И лгать не сможешь никому.

— О нет, — ей отвечает Том. —
На что мне эта благодать?
С таким правдивым языком
И не купить, и не продать.

Девчонку с ним не залучи,
А залучишь, опять беда...
— Молчи, мой честный Том, молчи,
Со мной не спорят никогда. —

Том верно службу нес свою,
Он в шелк и бархат был одет,
И на земле, в родном краю,
Его не видели семь лет.

Перевел с английского Игнатий Ивановский

Джордж Гордон Байрон

Мазепа

ВСТУПЛЕНИЕ К ПОЭМЕ

Минул твой страшный день, Полтава,
Удача Карла предала.
Его изрубленная слава
Кровоточить уж не могла.
И вероломными вождями
Покинут был державный швед.
А под московскими стенами
Настал покой на много лет,
До тех кровавых, мрачных дней,
Когда удар еще грозней
Позором и огнем настиг
Надменнейшего из владык.
Ужасней пропасть, злее гром,
Он пал — все дрогнуло кругом.

Элегия Ньюстедскому аббатству

ФРАГМЕНТЫ

Ньюстед! Когда-то пышный дом отцов!
Руины! Генриха приют святой!
Гробницы дам, монахов и бойцов,
Чьи призраки витают над тобой!

Король тебя воздвигнуть здесь велел
В глуши, где жил когда-то Робин Гуд,
И фанатизм, душа преступных дел,
Под клобуком нашел себе приют.

*Чул Барабана дробь кругом слышна,
Двор музыкой военной оглашен,
И в знак того, что здесь царит Война,
Зал переполнен шелестом знамен.*

*И перекличка дальних часовых,
И грубный звук, и барабанов гнев,
И звон щитов, и шум пиров ночных
Слились в один тревожащий напев.*

*И монастырь стал замком боевым,
Мятежными полками окружен.
Он изрыгает смерть и серный дым.
Вот, кажется, противник отражен, —*

*Но тщетно все: штурмующей толпой
С высоких стен вассалы сметены,
Предательство выигрывает бой,
Флаг мятежа на выступе стены!*

*Грязь, трупы, глина с кровью пополам...
И это — на святой земле твоей!
Разбойники шагают по телам
Товарищей своих и лошадей.*

*Надгробия, свидетели веков,
Разбиты и повергнуты во прах,
И мертвецам не избежать врагов,
Что жадно ищут золото в гробах.*

*...Ньюстед, Ньюстед, какой печальный вид
Картинь разрушенья твоего!
Последний в роде о тебе скорбит:
Развалины — владение его.*

*И слезы у него из глаз текут,
Но то не слезы сожаленья, нет,
Любовь, Надежда, Гордость в нем живут
И не дадут забыть тебя, Ньюстед!*

*Развалины, свидетели веков!
Он никогда бы вас не променял
На роскошь раззолоченных дворцов,
На пышность парков и парадных зал.*

*Быть может, солнце снова озарит
Лучом полудня сумрак твой, Ньюстед,
И твой грядущий день благословит,
Вернув величие ушедших лет!*

Лев Вайсенберг

Август Бебель

(Поездки по ГДР)

Город Эйзенах расположен у подножия Хельзенских гор в Тюрингии. Горы покрыты лесами, а среди них высится древний замок-крепость Вартбург.

На одной из улиц Эйзенаха стоит дом, где родился Иоганн Себастьян Бах, в нем выставлена для обозрения коллекция всевозможных музыкальных инструментов. Есть в этом городе музей средневекового искусства, нашедший себе приют в бывшем доминиканском монастыре. И музей Лютера.

Музей «Эйзенахский партсъезд 1869 года» особенно привлек мое внимание. Как известно, на этом съезде была основана социал-демократическая партия Германии. В залах музея — портреты Маркса, Энгельса, Вильгельма Либкнехта, Бебеля, предметы и документы той поры. И вот портрет Августа Бебеля заставил меня замедлить шаг и напомнил мне об одном событии почти шестидесятилетней давности.

Незадолго до первой мировой войны мне довелось быть с матерью и сестрой в Германии. Мы жили в Рейнской провинции, в курортном городке, славящемся своими йодистыми и бромистыми водами. Мы поселились в небольшом скромном пансионате, разнообразном, однако, по составу его обитателей. Были здесь и политэмигранты из России. Мне запомнился один из них, высокий худой поляк по фамилии Шкляревский.

Хозяин пансионата заметно отличался от своих жильцов. Городок тот находился в самой западной части Пруссии, в каких-нибудь ста километрах от Франции, и почти утратил прусский дух, но герр Отто Кундерт упрямо сохранял в себе типичные черты прусака.

Герр Отто Кундерт был грузный, пузатый мужчина с вечной толстой сигарой в зубах, завзятый любитель пива.

Однажды герр Кундерт появился перед нами в цилиндре, в сюртуке, с цветком в петлице. Он был в прекрасном расположении духа, прямо сиял от гордости. Оказывается, только что ему довелось приветствовать кайзера Вильгельма Второго, проезжавшего через городок со свитой на охоту. В этот день Кундерт явно вместил в себя пива больше, чем всегда, а сигара его дымилась еще гуще, чем обычно. Впрочем, Кундерту незачем было особенно заноситься — мне тоже в тот день привелось увидеть кайзера, когда тот сделал маленькую остановку перед террасой курзала. Мне запомнились торчащие вверх усики кайзера, достигшие в годы первой мировой войны гомерических размеров в бесчисленных карикатурах на страницах газет и журналов в странах, воюющих с Германией. Автомобиль кайзера, даже в те времена, показался мне слишком высоким и неуклюжим. Такой можно увидеть теперь только на выставках автомобильной старины.

Однажды утром во время завтрака в столовую поспешно вошел Шкляревский с газетой в руках и взволнованно сообщил:

— Умер Август Бебель!

Перевела с английского Галина Усова

Лев Маркович Вайсенберг (1900—1973) писатель примечательной судьбы. Он родился в Баку и после окончания коммерческого училища ушел в революцию. Он служил бойцом в Волжско-Каспийской флотилии, работал в политотделе, потом, после успешного окончания Азербайджанского университета, был направлен в Ленинградский научно-исследовательский институт литературы и языка. Здесь он целиком посвятил себя литературной работе. Он писал повести, рассказы, зани-

мался переводами. Здесь он закончил свой основной труд, трилогию «Младшая сестра», — развернутую картину прекрасной женской судьбы, раскрепощенной революцией.

Очень много отдавал Лев Маркович труда, сил и присущего его характеру такта и внимания работе с молодыми писателями.

Мы печатаем один из его последних очерков.

Михаил Дудин

Послышались возгласы сожаления, сочувствия. Кто-то выступил с кратким словом. Кто-то предложил почтить память покойного вставанием. Все поднялась, с минуту постояли в безмолвии.

Я не знал, кто такой Август Бебель, и был удивлен впечатлением, какое произвело на всех известие о его смерти.

Присутствующие не успели сесть, как дверь из кабинета Кундerta вдруг растворилась и на пороге появилась грузная фигура нашего хозяина.

— Что здесь случилось? — спросил он, обводя жильцов удивленным, чуть подозрительным взглядом.

Ему не сразу ответили.

— Скончался Август Бебель, — наконец тихо вымолвил кто-то.

— О боже!.. — с видимым облегчением воскликнул Кундерт. — А я-то думал, какое-нибудь несчастье!

За столом пронесся недоуменный шепот.

— Но ведь это и есть несчастье! — строго заметил Кундерт Шкляревский.

Тот слегка смутился:

— Разумеется, всякая смерть несчастье... Но я, признаться, встревожился, не струсил ли какая-нибудь беда в моем пансионате... Это долг хозяина... Оказалось, что некто Бебель...

— Август Бебель — не некто! — сурово оборвал его Шкляревский. — Неужели вы не знаете, что собой представлял этот необыкновенный человек?.. — И так как Кундерт в ответ лишь пожал плечами, делая вид, что слышит о Бебеле впервые, Шкляревский с усмешкой спросил: — Вы, наверно, и о Карле Марксе ничего не слышали?

— Карл Маркс?.. — с притворным недоумением, как бы припоминая кого-то, протянул Кундерт. — В нашем городе я знаю даже двух Марксов — «Братя Адольф и Лео Маркс, виноторговцы», хватит с меня и этих двоих!

Шкляревский вспыхнул:

— Перестаньте паясничать, герр Кундерт! Вы отлично знаете, кто такой Август Бебель и кто такой Карл Маркс. Замечу кстати, что именно Карл Маркс говорил о Бебеле как об исключительном явлении в немецком и, можно сказать, европейском рабочем классе.

— Но я, черт возьми, не немецкий и не европейский рабочий класс! — в свою очередь вспыхнул Кундерт.

В ответ в разных концах стола послышались иронические реплики:

— Это мы хорошо видим!

— Вполне правдивое, герр Кундерт, замечание!

— И в вашей воле, конечно, знать или не знать, что Август Бебель — рабочий-революционер, вождь немецкой социал-демократии!

Лицо Кундerta побавровело:

— Мой вождь — Вильгельм Второй, император германский, король прусский! — высокопарно объявил он. — Запомните это, господа, если хотите жить под гостеприимным кровом моего пансионата... И если не хотите иметь неприятностей с полицией... — добавил он многозначительно.

Это было уже слишком! Присутствующие молча переглянулись.

— Я как раз собирался просить вас, герр Кундерт, приготовить мне счет, — первый нарушил молчание Шкляревский и, выйдя из-за стола, направился в свою комнату. — Я только сложу свои вещи, — промолвил он, обернувшись в дверях.

Вслед за ним стали выходить из-за стола и остальные. Поднялись и моя мать, сестра и я. За столом остались сидеть две-три старухи.

— Но, господа... — начал было Кундерт, поняв, что зашел далеко, и видя, какой оборот принял спор.

Его не слушали...

С тех пор прошло почти шесть десятков лет, и, конечно, нельзя поручиться за точность каждого слова в приведенном мной споре, но суть его изложена точно и правдиво...

Мне не хотелось быть похожим на Отто Кундerta, который не знал или притворялся, что не знает, кто такой Август Бебель, и вскоре после спора я раздобыл книгу Бебеля «Из моей жизни».

С каким интересом читал я эту книгу, особенно страницы, относящиеся к детским и юношеским годам жизни Бебеля! У нас оказались одни и те же любимые книги — «Робинзон Крузо», «Хижина дяди Тома», романы Вальтера Скотта. Август, будучи в школе одним из первых по прилежанию и учебе, был, оказывается, также первым по всякому рода мальчишеским шалостям. Все это открывало радужные перспективы в моих мечтах о будущем.

В целом, правда, автобиография Августа Бебеля была для меня довольно сложным произведением — по существу, она представляет собой обстоятельную историю рабочего движения и становления социал-демократии в Германии во второй половине прошлого столетия, — однако я прочел книгу от первой страницы до последней. Пожалуй, это была одна из первых книг, по-настоящему познававшая меня с социализмом.

Позже, во время гражданской войны, когда я работал в политотделе Волжско-Каспийской военной флотилии, я убедился, сколь популярны среди краснофлотцев книги и брошюры Бебеля — «Социализм и христианство», «Крестьянская война в Германии», «Женщина и социализм» и, конечно же, «Из моей жизни».

В этом нет ничего удивительного. Владимир Ильич Ленин писал, что «Бебель воплотил в ходе своего развития и своей политической деятельности целый исторический период жизни не только германской, но и международной социал-демократии... Сам рабочий, он сумел пробить себе дорогу к твердым социалистическим убеждениям, сумел стать образцом рабочего вождя, представителя и участника массовой борьбы наемных рабов капитала за лучший строй человеческого общества».

Мне и в дальнейшем не раз приходилось встречаться с именем Августа Бебеля.

Недавно оно вновь ожило для меня во время поездки по Германской Демократической Республике — в музей «Эйзенахский партсъезд 1869 года», в нынешней жизни республики и ее делах.

Борис Кац

ЖИВАЯ МЫСЛЬ МУЗЫКИ

Борис Тищенко



Вступление будет длинным, потому что думаю о том, как все непросто в современной музыке.

Оставим сейчас в стороне мальчиков с гитарами и супераппаратурой и все сложные проблемы «легких» жанров.

Поговорим о другой музыке, о композиторах, выводящих на первых страницах нотных рукописей какие-то странные старинные слова — симфония, соната, квартет...

Их мало знают, но их сейчас — немало. Если в музыкальной критике пятидесятых годов можно было встретить сетования на недостаток новых ярких творческих индивидуальностей, новых композиторских имен, то на рубеже шестидесятых годов произошел взрыв: имена стали появляться одно за другим. Профессиональный рост пошел с такой скоростью, что казалось — кто-то стремится компенсировать предшествующую замедленность.

Все перепуталось. Поколения перемешались. Ученики стали «обгонять» учителей, учителя — перенимать у учеников их новшества и «обгонять» их в свою очередь.

Замелькали, запестрели названия: алеаторика, додекафония, пуантилизм, сонористика и прочие спешно изучаемые виды современной композиторской техники. Их, кажется, почти все быстро освоили. Эпоха непрерывного следования канонам благовзвучия двухсотлетней давности вроде бы закончилась. Все стали писать остро.

Острота — весьма ценное качество приправы.

«Он прекрасно готовит гарнир к несуществующей курице», — съязвил как-то едкий зритель по поводу очень яркой постановки одного режиссера.

Продолжим гастрономическую метафору. В шестидесятые годы молодые композиторы научились готовить замечательные гарниры. Но, — продолжая метафору, — не у всех было к чему их подать. Так появилась проблема, которую условно можно назвать проблемой сути.

И еще вставала проблема почерка. Поскольку гарниры готовились по общим рецептам, они оказались довольно похожими. Выяснилось, что просто писать современным языком — недостаточно: все нынче современные. Нужно отличиться, найти специфику почерка.

Но как же найти, если только придумаешь нечто ультраановое, как узнаешь от более эрудированного коллеги, что это уже было — не то у Мессиана, не то у Пендерецкого!

И действительно, кажется, уже все, что можно было сделать с музыкой, — все сделали в XX веке: на чем только, чем только и как только не играли! И когда неутомимейший из экспериментаторов американец Джон Кейдж написал пьесе «4 минуты 33 секунды», обозначив тем самым с безукоризненной точностью время, в течение которого пианист сидит за роялем, не прикасаясь к клавишам, то не было ли это капитуляцией, безмолвным, но красочным признанием, что — да, все уже было, все средства исчерпаны — дальнейшее, как говорил Гамлет, молчание!

Все непросто в современной музыке, но обречена ли она на молчание?..

Среди тех, кто отрицает это не словом, но делом, есть группа талантливых ленинградских композиторов. Среди них — Борис Тищенко, тридцатилетний автор четырех симфоний, пяти фортепианных сонат, скрипичного, фортепианного и двух виолончельных концертов, трех квартетов, балетов «Двенадцать», и «Ярославна», сочинений по сказкам Чуковского — балета «Муха-Цокотуха», оперы «Краденое солнце» и оперетты «Тараканище», сюит из музыки к кинофильмам «Суздаль», «Палех», «Гибель Пушкина», «Северные этюды» и «Рождение корабля», вокальных циклов, Реквиема на стихи Анны Ахматовой и многих других сочинений, — композитор, для которого, по-моему, просто не существует проблем, названных выше.

Например, проблемы сути.

«Мысли живые подайте, живую беседу с людьми ведите...» — еще в 1875 году сокрушался Мусоргский, говоря о нехватке сути в современных ему музыкальных новинках. И если этот столетней давности призыв актуально звучал и в середине нашего века, то одним из убедительных ответов на него стала музыка Тищенко.

Ибо это музыка, заряженная мыслью.

Я бы не хотел, чтобы слово «мысль» вызывало у читателя ассоциации — «рассудочность», «умозрительность», «сухость». Мысль композитора приходит к слушателю в виде сопряжения звуков, обращенного прежде всего к эмоциональному восприятию, или, выражаясь по-старинному, затрагивающего струны души. Поэтому, говоря словами Нейгауза, «музыка мысли, музыка умная насквозь — это вовсе не значит — сухая, как думают некоторые наив-

ные люди». В музыке, пожалуй, более, чем в любом другом искусстве, напряженность мысли оборачивается эмоциональной напряженностью, накалом чувств. И музыка Тищенко берет в плен слушателя прежде всего своей «эмоциональной температурой». У этой температуры весьма значительная амплитуда колебаний: от отрешенности до иступления. Но, попадая в водоворот этой иногда очень сложной по языку музыки, взлетая на гребни ее кульминаций или застывая вместе с ней в глубинной сосредоточенности, постоянно ощущаешь, что слух твой следует по подводным течениям, четко и точно направленным композиторской мыслью.

Мысль эта захватывает не только своей логичностью, но и, я бы сказал, нравственной активностью. Ей абсолютна чужда формула объективно-бесстрастного повествования — «добру и злу внимая равнодушно». Музыку Тищенко пронизывает этический нерв.

С первых сочинений Тищенко критика отметила две особенности его таланта: стремление к логической ясности и приверженность к нравственной проблематике.

Современность музыки Тищенко не столько в ее выразительных средствах, сколько в психологическом ее настрое, в «образе мира», ею создаваемом.

Если дать волю фантазии, то можно было бы вообразить своего рода «героя» этой музыки, подобно тому как говорят о «лирическом герое» чьей-либо поэзии. Видимо, получился бы портрет нашего современника, принадлежащего к поколению, для которого «сороковые, роковые» стали суровой школой детства, — портрет человека порой угловатого, иногда дерзкого, постоянно ощущающего сложность своих отношений с миром, в котором далеко не все его устраивает, и мучительно пытающегося разобраться в этой сложности.

Должно быть, от тех трудных детских лет есть в нем определенная жадность к жизни: его интересует все — и простое, и сложное, и «низкое», и «высокое»: ничто новое не проходит мимо. Этот «герой» — не «рыцарь без страха и упрека»: он знает соблазны и заблуждения, он оступается и срывается.

Но от тех же трудных детских лет есть у него и нравственный фильтр, отсеивающий все преходящее и наносное. Совесть ведет его — через срывы и крушения — к пониманию и утверждению. Это нелегкий путь.

Путь развития музыки во многих сочинениях Тищенко можно — очень схематично и огрубленно — представить таким: простое — сложное — простое. Но простота начал и простота концов — различны.

Большинство сочинений Тищенко начинается одностольно. Кажется, что слух композитора ищет для своих вступлений ту, говоря словами поэта, «кристаллическую ноту, что от рождения чиста».

Из нее рождается Мелодия. Она разворачивается перед слушателем, управляемая иногда прихотливым, но всегда властным ритмом.

Она — одна, она изначальна. Только потом ответятся от нее другие мелодии, медленно и постепенно возводя гигантскую звуковую структуру. В таких сочинениях, как Третья симфония, Первый виолончельный концерт, Концерт для флейты и камерного оркестра каждый раз как бы повторяется сам процесс рождения музыки — из тишины, из одного звука, из одной мелодии. Здесь царствует обнаженная и чистая простота первоначальности.

Иногда даже трудно уловить тот момент, где началось усложнение. Вдруг замечаешь, что уже не в состоянии уследить за перепутавшимся сплетением голосов, что ткань звучания становится все плотнее и напряженнее, все резче — тембры, острее — ритм... Вот уже музыка начинает биться в судорогах, как бы задохнувшись на грани гибели... И вот наступает кульминация.

Трагические кульминации в музыке Тищенко поистине страшны. Это не просто вершинные точки драматического напряжения. Это — гигантские, вселенские катастрофы: в хаосе издевательских выкриков, грохота и скрежета рушится мир.

Одна из наиболее сильных таких кульминаций — в Третьей симфонии, где композитор использовал технику алеаторики: коллективную импровизацию исполнителей в определенное время по заданной автором канве. Слово оглушенные грохотом оркестра, в паузах между «атаками» блуждают голоса отдельных инструментов, потерявшиеся в руинах музыки. И невольно вздрагиваешь, услышав среди их подвываний звучание человеческих голосов и неверные звуки фортелиано, как бы нащупывающие отзвуки шубертовской «Маргариты за прялкой». Новая громовая «атака» оркестра сметает и эти «осколки».

Цель дальнейшего развития — со- творить музыку заново, преобразо-

вать хаос в гармонию. Медленно, постепенно из отдельных реплик собираются первоначальные мелодии. Мучительно, с трудом они вновь «привыкают» друг к другу. Хаос отступает. Начинается просветление.

Пожалуй, больше всего в музыке Тищенко я люблю эти финальные просветления с их мелодиями, простыми настолько, что даже удивляешься, как сейчас можно сочинить такую простую музыку. Кажется, будто они и не сочинены вовсе, а просто найдены, услышаны, подслушаны. Эти финалы заставляют вспомнить пушкинское «Возрождение»:

Так исчезают заблужденья
С измученной души моей,
И возникают в ней виденья
Первоначальных чистых дней.

Но вновь возникшие виденья уже включают в себя опыт пережитого.

Наступает очищение, но это очищение трагедии — посредством катарсиса. Поэтому в музыке Тищенко простота конца отличается от простоты начала именно тем, что впитала в себя сложность середины.

Вот этот «прекрасный и яростный» цикл, через который композитор заставляет пройти своего «героя», а вместе с ним и нас, и порождает ощущение напряженной работы мысли. Причем это не значит, что мысль Тищенко направлена только на превращение сложного в простое.

Когда я сказал Борису, что собираюсь писать о его музыке статью для литературного журнала и потому буду избегать профессиональной музыкальной терминологии, он взял с рожая газету и наугад раскрыл ее.

— А вот послушайте, как пишут в массовой печати: «Некоторое время тому назад на Бакинском кожевенном заводе из мездровых жировых отходов получали высококалорийный технический стереат кальция». Видите — вполне профессиональный язык. Считается, что читатель поймет. Почему же, когда речь идет о музыке, надо что-то упрощать? Я этого не понимаю...

Фраза «я этого не понимаю» произносится Тищенко довольно часто, причем порой это относится к вещам и положениям вроде бы общепринятым.

Сложен человеческий язык: «не понимаю» в данном случае означает — «не хочу принимать вашего понимания».

Это — неприязнь к тем привычным словосочетаниям, к тем словесным ярлыкам, которые обыденное сознание навешивает на проблему, закры-

ваясь от ее сложности: сложное, будучи названным просто, кажется понятным. Вот эта иллюзия понятности при реальной непонятности неприятна Тищенко, как неприятно ему и всякое упрощенчество.

Он хочет видеть всю сложность, он ее не боится.

Это слышно даже в сочинениях Тищенко для детей. За искрометным юмором сказок Чуковского он читает трудности человеческих ситуаций. В музыке к этим сказкам он творит яркий и веселый мир, но этот мир — «заправдашний», в нем солнечно, но бывает и по-настоящему страшно. С остроумной, сверкающей чуть ли не цирковым весельем музыкой соседствуют почти трагические эпизоды. И обывательская трусость «героев» «Мухи-Цокотухи» или «Краденое солнце» из повода для насмешек превращается в реальную человеческую проблему.

Еще ярче это проступает при обращении к исторической тематике.

Балет «Ярославна» у многих вызвал недоумение прежде всего трактовкой сюжетной ситуации и образов главных героев.

Недоумение это легко объяснимо. Мы привыкли видеть героев «Слова о полку Игореве» на пьедестале могучей светонесущей музыки Бородина. Лучи славного ореола, вспыхнувшие над головой Игоря — оперного героя, были настолько сильны, что отблесками пали они и на героя исторического. В результате для не слишком сведущих в истории оказались скрытыми сложность и трагизм исторической реальности.

Музыка Тищенко обнажила именно эти качества. И у человека, знакомого с воссоздаваемыми событиями не только по замечательной опере Бородина, но и по летописям, это не вызовет недоумения. Великолепные сценические метафоры Юрия Любимова и смелая хореография Олега Виноградова сделали постановку «Ярославны» в Академическом Малом театре оперы и балета одним из самых ярких ленинградских спектаклей последних лет. Но название, данное композитором своему балету, точнее и сложнее названия постановки — «Затмение».

Обращение к «Слову о полку Игореве» для Тищенко не случайно. Русская культура — от древности до наших дней и в самых разных своих проявлениях — постоянно питает его творчество. Его музыка к кинофильмам осмысливает и таинственно-звонкую красоту суздальской Руси, и до сих пор непостижимую гибель Пуш-

кина, и накал современного производства — грандиозный процесс рождения корабля. Буйный ветер революции бушует в «Двенадцати» — балете по поэме Блока. Тищенко превосходно знает русскую поэзию. Русская песня, которую он изучал в многочисленных фольклорных экспедициях, стала важнейшим интонационным фундаментом многих его сочинений.

Национальные истоки музыки Тищенко — несомненны.

Но русская культура воспринимается композитором не как замкнутая в себе область, а как неотъемлемая часть культуры мировой. Поэтому в его вокальном цикле «Грустные песни» рядом с русскими народными текстами звучат стихи Шелли, Отомо Якамоти, Шандора Петефи и Мелиха Джевдета Андая.

Такой же универсализм характерен и для чисто музыкальных интересов Тищенко. «Он весь в музыке: основательно знает и старинных композиторов, и сочинения современных авторов, и народное творчество...» — писал о своем бывшем аспиранте Дмитрий Дмитриевич Шостакович.

Самое удивительное, что именно этот универсализм и снимает для творчества Тищенко вторую из названных в начале проблем — проблему почерка. Тищенко не боится влияния чужих стилей — он их перерабатывает. В своей творческой юности он прошел через подражания всем, кем увлекался, а увлекался он многими. Он и сейчас охотно называет композиторов, продолжающих оказывать на него воздействие: это Монтеверди (Тищенко осуществил редакцию и принимал участие в постановке его почти забытой оперы, написанной триста лет тому назад, — «Коронация Поппеи»), это Бах, Моцарт, Шуберт, Малер, это двое его учителей — замечательные мастера советской музыки Галина Ивановна Устольская и Дмитрий Дмитриевич Шостакович.

Но все эти воздействия, порой очень слышные в музыке Тищенко, не мешают композитору оставаться самим собой. Должно быть, вообще быть похожим на кого-либо боятся только авторы, не уверенные в своей самостоятельности. Тищенко не страшно быть похожим на Шостаковича, потому что он на него похож так, как может быть похожим только Тищенко. А влитывание традиций старых мастеров делает музыку Тищенко звеном в связующей цепи времен, не дает ей потеряться в безбрежном море современных выразительных средств. «Радует, — говорил Шостакович, — что Тищенко

в своем творчестве антидогматичен: он не идет в «плен» ни к хроматике, ни к диатонике, ни к додекафонии, но свободно пользуется теми средствами, которые ему крайне необходимы в каждом данном случае».

Музыка Тищенко и в самом деле свободно изъясняется на разных языках, порой даже на тех, которые, казалось бы, совсем вышли из употребления. Так в Интермеццо из Пятой фортепианной сонаты неожиданно и вольно прорывается «добрая старая музыка»: бегут трезвучия по клавиатуре, совсем как у романтиков XIX века. И суть в том, что это не стилизация, не ироническое воспроизведение отжившей эпохи — это столь же важный и нужный для композитора язык, как и громогласящий друг на друга торосы диссонансных аккордов.

Когда Борис Тищенко впервые играл эту сонату в Доме композитора, он был освещен резким перекрестным светом «юпитеров»: кинематографисты снимали фильм о ленинградских композиторах.

Я подумал, что кадры, показывающие Тищенко за инструментом, должны быть очень выигрышными для создателей фильма, ибо Тищенко — превосходный пианист — обращается с роялем с отвагой и уверенностью укротителя, особенно когда он показывает свои оркестровые сочинения, — он как бы разрывает ограниченные возможности фортепиано: гулко грохочут басы, заменяя литавры, на крышке рояля отстукивается дробь ударных, голосом допеваются не уместившиеся на клавишах партии инструментов.

Самого композитора нимало не смущает роль человека-оркестра. Он в этот момент весь — воля и энергия. И инструмент уступает этому натиску, отдавая своему властелину требуемое звучание. В такие минуты воочию видишь, что Тищенко, как сказал о нем Шостакович, — «человек, убежденный в правоте своего творчества».

Небольшая деталь.

Пожалуй, на фоне современной музыки, тяготеющей к лаконизму и кратковременности высказывания, многие сочинения Тищенко могут показаться излишне монументальными. В нынешних условиях большая длительность звучания ограничивает возможности и концертного исполнения, и записи, и радиотрансляции произведения. Поэтому композиторов иногда просят сократить сочинение, сделать купюры. Тищенко, как правило, категорически отказывается. Порой такие отказы надолго закрывают музыку путь к исполнению. Но Тищенко не хочет облегчать этот путь

Дмитрий Хренков

Дорогие спутники МОИ

ценой отступления от собственного замысла. Он убежден, что в его музыке «ровно столько нот, сколько требуется», как, по преданию, ответил Моцарт на упрек в многословии.

Он убежден даже в большем, а именно в том, что композитор не изобретает нечто новое, а открывает нечто объективно существующее, подобно тому как ученый не придумывает законы мира, а только констатирует их. «Поэтому-то, — сказал Тищенко в одном интервью, — настоящая музыка всегда производит такое впечатление, точно она появилась на свет сама, без посторонней помощи. Она должна была появиться».

Вот это ощущение долженствования пронизывает и самое музыку Тищенко, и его исполнение своей музыки, и его отношение к ней.

Отсюда и убежденность в правоте своего творчества — очень ценное для художника качество.

Ценное и опасное.

Опасное потому, что убежденность не всегда бывает убедительна. Пройдя все искусы современной музыки и будучи сам ее великим искителем, Игорь Федорович Стравинский на склоне лет сделал горькое предупреждение: «Вера в свою искренность не так опасна, как убеждение в собственной правоте. Нам всем кажется, что мы правы, но то же самое нам казалось и двадцать лет тому назад, а сегодня знаем, что тогда не всегда были правы».

Двадцать лет назад Борис Тищенко учился в Музыкальном училище при Ленинградской консерватории и писал свои первые опусы. Сейчас он — зрелый мастер в расцвете творчества.

Кто скажет, что важнее в эту пору — убежденность или сомнения?

В некоторых поздних сочинениях Тищенко, например в мастерски написанной оркестровой пьесе «Simfonia Robusta», мне показалось, что тот «герой» его музыки, о котором шла речь выше, стал уж слишком уверенным, слишком гордящимся своей силой и как будто забывшим о своих мучительных колебаниях.

Показалось также, что утверждение уже найденного стало привлекать композитора больше, чем сам процесс поиска...

Музыка Тищенко становится все более и более известной. Она вступает в пору своей славы. Это тоже не просто.

Лучи славы подобны лучам «юпитеров». Они одинаково резко высвечивают и удачу, и просчеты.

За двадцать лет много сделано — и сделано хорошо.

Многое и, должно быть, главное — впереди.

«Коммунисты, вперед!»

Отдавать «атакующему классу» всю свою «звонкую силу» давно стало нормой творчества и условием полнокровной жизни каждого советского поэта. Эту формулу всей силой своего гения пришлось утверждать Маяковскому. В наше время эта формула стала аксиомой, и весь вопрос теперь — о качестве отдачи. Конечно, это относится ко всей поэзии, но в первую очередь — к лирике и публицистике.

Между тем именно на поприще поэтической публицистики чаще всего подвизаются ремесленники. При всеобщей грамотности и обязательном среднем образовании отряд ремесленников растет, как грибы после дождя. Они хорошо овладели техникой письма, и святые для всех нас слова — такие, как «Родина», «партия», «коммунизм», — часто оказываются пропуском, открывающим для них двери редакций газет и журналов. Как же не напечатать вирши, в которых славится народ-созидатель или содержится оперативный отклик на важное политическое событие, к тому же если сочинение одето и обуто в полном соответствии с требованиями поэтики! Спекулянты и ремесленники, к сожалению, часто легко сбывают свой товар.

Помню, с какой яростью Ярослав Смеляков обрушивался на такого рода поделки — не только в беседах с друзьями, в выступлениях с трибуны, но и в стихах. Широко известно его стихотворение «Ландыши». В нем поэт буквально испепеляет за «патефонность» слов модную в то время песенку с тем же названием, говорит о своей музе:

Поэзия! Моя отрада!
Та, что всего меня взяла
И что дешевою эстрадой
Ни разу в жизни не была;
Та, что, порвав на лире струны,
Чтоб не томить и не брэнчать,
Хотела только быть трибуной
И успевала ею стать.

Когда Смеляков написал это стихотворение, я работал в газете «На страже Родины», и, встретившись

Окончание. См. „Аврору“ № 7—1975

с поэтом в Ленинграде, попросил у него стихи для газеты. Смеляков дал «Ландыши». На другой день мы их напечатали и среди откликов получили немало писем, авторы которых пытались защитить пошловатую песенку от суровой критики поэта. Некоторые из этих писем я успел показать Смелякову до его отъезда из Ленинграда.

— Что ты мне их показываешь? — рассердился Смеляков. — Пошлость, если с нею не бороться, опаснее колорадского жука. Мы сумели сберечь наше картофельное поле от этого паразита, а вот поэтическую ниву — не удалось.

Смеляков заговорил о так называемых поэтических откликах на разные политические события, о том, что, обращаясь к поэту в таких случаях, редакции требуют обязательно стихов. А ведь поэт, как любой гражданин, может откликнуться и прозой. Уменьше держать руку на пульсе времени — вовсе не значит сегодня писать про уборку урожая, а завтра громить империалистов. И той и другой цели бывает легче достигнуть просто хорошими стихами, которые помогут читателю осознавать себя и хозяином своей земли, и человеком, которому ненавистно рабство.

— Нам всем показывает пример Александр Трифонович Твардовский. Его политическая лирика не похожа на лирику Маяковского. Но они делают одно дело.

Смеляков брезгливо говорил о тех, кто пытался писать «под Маяковского», «под Твардовского», «под Светлова».

— Писать «под» кого-то нельзя.

— Но ведь есть естественная пора ученичества?

— Пора есть, и она закономерна, как закономерно, что брошенное в землю зерно дает стебель, а потом колос. Но всегда важен здесь не стебель, а колос. Возьмем Александра Межирова. Говорят, он в рот Пастернаку смотрит. А ведь пишет по-своему.

— А говорят, вы его раскритиковали чуть ли не за прямое заимствование у Бориса Корнилова.

— Чепуха! Я говорил, что у Межирова есть строчки, которые свидетельствуют о том, что он не писал «под Корнилова», а из хороших рук принял эстафету.

Мы шагали по Невскому, и Смеляков читал стихи Межирова:

Есть в военном приказе
Такие слова,
На которые только в тяжелом бою
(Да и то не всегда)
Получает права
Командир, подымающий роту свою.

Видно, стихи ему нравились. К концу стихотворения Смеляков читал громко, так, что на нас оборачивались прохожие.

Повсеместно,
Где скрещены трассы свинца,
Где труда бескорыстного невпроворот,
Сквозь века,
на века,
навсегда,

до конца:
— Коммунисты, вперед! Коммунисты, вперед!

— Хороший пример истинной политической лирики! Смеляков замолчал, а потом добавил:

— Конечно, есть в этих строчках совпадение с финалом корниловского «Триполья». Помнишь у Корнилова место, когда на приказ палача — коммунистам сделать пять шагов вперед — из строя шагнули все сто двадцать комсомольцев?

У Зеленого в ухе завяли монисты,
Штаб попятился вместе,
багров и усат...
Пять шагов, коммунисты...
Вперед, коммунисты...
И назад отступают бандиты.
Назад.

— Вот как надо писать! — улыбнулся наконец Смеляков. — Молодым не грешно поучиться у Корнилова. А Межиров молодец: учится у поэтов настоящих кровей.

Похвала Смелякова радовала. Он никогда не бросал слов на ветер и не стеснялся говорить, глядя в глаза, правду, какой бы горькой она ни была.

Стихи Межирова я знал давно, хотя с самим поэтом познакомился только после войны. Оба мы защищали Ленинград, оба работали в редакциях армейских газет. К его стихам я относился так же, как и к стихам Дудина, Орлова, других фронтовиков. Сколь ни разны почерки поэтов этого удивительного поколения, выросшего на войне и вопреки войне, они схожи в том главным, что определило их жизненную позицию. Александр Межиров хорошо объясняет, почему так притягательны их стихи:

Пусть сочтут эти строки изменой
И к моей приплюсуют вине:
Стихотворцы обоймы военной
Не писали стихов о войне.
Всех в обойму военную втисни,
Остриги под гребенку одну!
Мы писали о жизни... о жизни,
Не делимой на мир и войну.

Как-то Сергей Орлов привел к нам в Лениздат Межирова, приехавшего в Ленинград. Мы познакомились, а потом поехали вместе в Комарово на могилу Ахматовой. По дороге на кладбище Межиров читал стихи. Невская Дубровка, Колпино, Синявино... В стихах звучали не названия населенных пунктов, а рубежи нашей юности, нашего возмужания.

Тогда же возникла идея собрать стихи, написанные Межировым в окопах под Ленинградом, издать их у нас отдельной книжкой. Назвать ее решили «Невская Дубровка». Я написал для нее несколько строчек предисловия.

Книга получилась, как мне кажется, цельной и давала ясное представление о пути, пройденном солдатом и поэтом Межировым. Один только цикл вызывал тревогу: он не был до тех пор полностью напечатан из-за того, что иные редакторы усмотрели в стихах нечто, как им казалось, не созвучное времени.

В частности, вот это:

Мы под Колпином скопом стоим.
Артиллерия бьет по своим.

Можно понять противников появления этого стихотворения: мало ли что бывало на войне, зачем сыпать соль на уже затянувшиеся раны? Но мне хотелось напечатать стихи без изъятий. Не для того, чтобы напомнить об ошибках, свидетелями которых мы бывали на войне. Я думал о юном читателе. В последнее время к нему все чаще и чаще приходят книги, воспевающие воинский подвиг! Это хорошо. Между тем подвиг — всегда вершина, всегда поступок, вобравший в себя опыт многих, силу всего отряда, в котором мы ведем борьбу. Для того, кто хочет понять природу подвига, готовится повторить его, очень важно знать, что аспышке предшествует долгая возня с кресалом. Я хочу, чтобы мой внук, сидящий в кинотеатре, с восхищением следящий за огненными залпами наших

ракет, завершавших Великую Отечественную войну, помнил, что была и Невская Дубровка и «пятачок» на левом берегу Невы.

Впрочем, разве стихи Межирова — об ошибках нашего командования? Они — о святой верности солдат своему долгу: «Мы недаром присягу давали, и поэтому «из окопов никто не уйдет».

Мы под Колпином скопом лежим
И дрожим, прокопченные дымом,
Надо все-таки бить по чужим!

А она — по своим, по родимым...

Но есть в этом стихотворении и чуть заметная улыбка солдата. Может быть, она не снимает драматизма, но во всяком случае значительно меняет освещение изображенного эпизода:

По своим артиллерия лупит, —
Лес не рубит, а щепки летят.

Так пошутить мог солдат, хорошо знающий, что придет и на его улицу праздник — с такой же неотвратимостью, как утро сменяет ночь.

Мы долго прикидывали место в книге цикла, судили, рядили, и, кажется, редактору книги Борису Друняну пришла счастливая мысль: дать циклу название «Десантники». Оно как нельзя более точно отвечало содержанию стихотворений и снимало все вопросы по поводу того, как это наша замечательная артиллерия может бить по своим.

С тех пор под таким названием эти стихи печатаются во всех сборниках Межирова. Они никак не противоречат, а, наоборот, усиливают ту публицистическую струю в книгах Межирова, которая ярко проявилась в одном из самых лучших его стихотворений — «Коммунисты, вперед!»

Завещание Гитовича

Про людей, которые, казалось бы, самой судьбой предназначены для армейской службы, говорят: «военная косточка». Это выражение очень точно характеризует Александра Гитовича. Поэтический талант его расцвел в армии, в ряды которой он, отслужив в свое время красноармейцем, вернулся лишь в памятном всем нам сорок первом. На войне, когда он работал в армейской газете, он выше стихов и корреспонденций ставил свой солдатский труд. Он летал на «У-2» бомбить противника, дежурил в снайперских засадах, воевал, что называется, с пером и автоматом. Вернее, с автоматом и пером. И не потому, что стихи «не шли». Наоборот, живя среди солдат, деля вместе с ними опасности и невзгоды, он сумел написать немало хорошего и «кое-что оставить про запас». Запас впечатлений помог ему в послевоенные годы высказать самое главное, то, ради чего, собственно, на заре туманной юности он взял в руки перо. Он хорошо понимал, что «любовь и пристрастие к поэту начинаются с веры в него», и очень дорожил этим доверием — солдат, молодых поэтов, школу которых он в свое время возглавлял в Ленинграде, читателей, которых учил осмысливать жизнь и у которых никогда не считал зорным учиться самому («Я повторяю: надо жить на свете, чтобы учиться, а не поучать»).

Солдат в понимании Александра Гитовича — только тот человек, «для кого связались бородою честь Ро-

дины и честь его души». Он дорожил этой честью превыше всего.

В тридцать втором году, в начале мая,
Под знаменем военного труда,
Мы приняли Присягу, понимая,
Что присягаем — раз и навсегда.

Как боец, верующий в святость избранного дела, он всю жизнь с неодобрением смотрел «на тех, кто присягает каждый день!»

Существует проверка боем, крещение огнем, много других испытаний, где проверяются люди. Но ни одно из них не сравнить с той мерой взыскательности, которую предъявляет настоящий художник самому себе. Об этом не уставал напоминать Гитович. Обращаясь к старому другу, в строчках лаконичных, как заповедь, он снова и снова говорит об эталоне нашей ответственности перед согражданами и будущим:

И все же, как надобно смертным,
Еще раз проверим, дружок, —
Горит ли огонь беззаветный,
Который в нас Ленин зажег?

Этот огонь был и для поэта и для героев его поэзии постоянно действующим маяком. Он помог храброму солдату стать самоотверженным тружеником. Труд — вторая песня поэзии Гитовича. «Не крупные ошибки я кляну, а мелкий день, что зря на свете прожил», — признавался поэт. А жилось ему отнюдь не беззаботно. И работалось нелегко. В послевоенное время давали знать о себе походы и благоприобретенные болезни. И тем не менее мы, бывавшие нечастыми гостями в его комаровском сидении, никогда не слышали от него жалоб. Когда его просили прочитать новые стихи, он лукаво улыбался в бороду и читал свои переводы древних китайских поэтов. Но после смерти в ящике его письменного стола нашли рукопись книги новых стихов, про которую можно было бы сказать, что прочитана она нами как завещание. Через всю эту книгу сквозной темой проходит тема труда, в том числе труда писательского, ибо, обращенный к читателям, он, этот труд, особенно ответствен и многозначен. «Трудись, не покладая рук, над тем, что нужно людям», «Только бы — разумна и добра — длилась, как последняя награда, деятельной старости пора», «Старость жаждет трудиться», «Я приветствую старость, которая трудоспособна», «Кончился праздник работы, начались будни безделья...» Все это — не строчки из одного стихотворения, а цитаты из стихов разных лет.

Конечно, «праздник работы» прерывался тяжкими буднями. Гитович писал:

Мне хорошо знакома,
Помимо прочих бед,
Тоска аэродрома,
Когда полетов нет.

О, давняя невзгода
Туманов и дождей —
Нелетная погода
В поэзии моей!

Но ветер разгонял тучи, и снова в высокое небо поэзии устремлялась строка, снова поэт берег и холил слово, «чтобы зря нам не кануть в туман», снова продолжал спор, часто не только с идейным противником, но и с собратом по перу. В спорах он был по-солдатски непреклонен, порой резок, но всегда предельно прям и точен и в выборе адреса своих критических стрел, и в определении их «убойной силы». Молодым поэтам он напоминал: «Лебединая песня поэта начинается с первых стихов».

Я читаю стихи Гитовича словно продолжение наших долгих бесед с ним — на фронте, после войны и в самое последнее время.

На войне мы не часто встречались, а встретясь, не всегда расставались дружелюбно. Слишком резок, слишком взыскателен был поэт к нам, своим более молодым товарищам по газетной работе. Он был храбр и неутомим на переднем крае, видел зорче нас, и слово охотнее подчинялось ему. На то, что отнимало у нас часы, у него уходило минуты. А когда наши заметки и корреспонденции появлялись в газете, Александр Ильич не щадил нас за «огрехи».

Случилось так, что в послевоенные годы уже мне доводилось отбирать его стихи для печати. А напечататься для Гитовича нередко было очень важно — и не только для того, чтобы заявить о своей точке зрения, но и ради хлеба насущного. Однако он никогда не шел на поправки и переделки, если не осознавал необходимость их.

— Согласимся на том, что стихотворение не вышло, — говорил он, отказываясь от исправления...

— А не кажется ли тебе, что наш друг торопится на все отозваться? — спросил он как-то меня, назвав имя известного и уважаемого им поэта. — Суетность грозит ему, как мне инфаркт.

И когда мы с этим поэтом приехали к Гитовичу в Комарово, Александр Ильич повел разговор прямую. Как это было своевременно для нашего общего друга!

— Обиделся на меня, знаю, — щурился Гитович, провожая нас на вокзал. — Что переживает — хорошо. А обида — она пройдет, если все понял правильно.

Я дал Гитовичу рукопись своей книги о Борисе Лихареве.

Вероятность попасть на острый язык Гитовича была велика: Гитович долгие годы дружил с Лихаревым, вместе они занимались в литературном объединении «Смена», работали рука об руку.

В издательство был дан вполне положительный отзыв на рукопись, но я не ошибся в своих ожиданиях: влетело мне от Гитовича по первое число. В чем только он не обвинял меня — и в неточности, и в ленивости мысли, и в скороговорке!

Весь день мы прсшагали с ним по Ленинграду, пока он не выложил мне все свои замечания. В середине беседы мне хотелось выбросить рукопись в Неву. К концу дня я все лучше понимал, как нужно написать о Лихареве.

Я был свидетелем многих бесед Гитовича с Анной Андреевной Ахматовой. К ней он относился с благоговением. Анна Андреевна прощала Гитовичу то, чего бы не могла, видимо, простить никому другому. Гитович был первым слушателем многих ее стихов. Ахматова очень дорожила его мнением.

— Вы знаете, что отличает стихи нашего Александра Ильича? — спрашивала она меня. — Мудрость.

И действительно, в каждом стихотворении Гитовича мысль — словно сжатая пружина. Беглый взор не приведет ее в действие, а для внимательного читателя она сработает как запал в гранате, правильно поставленной на боевой взвод. Это придает его стихам афористичность, точность, близкую к точности поговорки.

Вот почему стихи его не только приносят удовольствие любителям поэзии, но и способствуют умножению их рядов. Вместе с тем для молодых литераторов они могут быть чем-то вроде учебника.

Евгений Кутузов

Контур



Радий Погодин

О творчестве Радия Погодина написано много. И хорошего и плохого, и полезного и вздорного. Это понятно, ибо каждый ищет и находит — бывает, и не находит — в литературе то, что ему хочется найти, а Погодин — писатель непростой. Одному понятны и близки его книги, его герои — всегда думающие, живущие не только днем сегодняшним, но в неразрывной связи с прошлым и будущим, как оно и быть должно; другому более по душе Виктор Голявкин, или Юрий Томин, или Николай Внуков, или Михаил Демиденко, или Николай Сладков, или Вильям Козлов, — я намеренно называю имена писателей, много пишущих о детях и для детей. Не в том, однако, суть: писателей одинаково близких и понятных всем не бывает, иначе мы вынуждены были бы признать, что все читатели на одно лицо.

Мне показалась интересной, глубокой по мысли статья Игоря Мотяшова «Когда начинается биография» в книге «Мастерская доброты», но и этот критик не удержался от соблазна упрекнуть Погодина. «Радий Погодин в пути, — пишет Игорь Мотяшов. — Судя по эволюции писателя от «Кирпичных островов» к «Ожиданию» и от него к «Трень-брень», путь этот ведет его ко все более взрослому читателю. А герои его по-прежнему остаются десятилетними и двенадцатилетними. Здесь есть реальная опасность разрыва со своим читателем...»

Но почему же так сразу и разрыв? Разве классическая литература, русская в том числе, не знает примеров, когда для взрослых писали книги о детях? И разве не сам Игорь Мотышов утверждал чуть раньше, что «через все книги Р. Погодина проходит мысль о том, что детей так или иначе касается все».

Вот именно — все, и отсюда естественно следует, что в жизни существует некая постоянно действующая обратная связь: детей касаются наши, взрослые, дела и заботы, а мы, взрослые, не можем — да ведь и права на то не имеем! — пренебречь заботами и делами детей.

Это — аксиома.

Но отчего же тогда плохо, если писатель, всеми или по крайней мере большинством почитаемый писателем детским, станет писать и «взрослые книги»? Да вот уже и появилась такая книга, в которую, правда, включены и некоторые вещи Погодина, написанные для детей («Осенние перелеты», Лениздат, 1972). И, замечу, самые сильные повести этого сборника — «Мальчик с гусьями» и «Где леший живет?» — как раз «взрослые».

Значит, Игорь Мотышов прав, и Погодин действительно «изменил» своему читателю? Ничуть не бывало, потому что Погодин всегда писал не только для детей, хотя в основном — о детях, и те, кто хорошо знаком с его творчеством, никогда не обманывались на этот счет. Тому прекрасное подтверждение и одна из последних его вещей (затрудняюсь определить ее жанровую принадлежность), «Перейдем речку вброд», опубликованная в прошлом году совсем уж в детском журнале «Искорка». Насколько мне известно, постоянные читатели «Искорки» — дети старшего дошкольного и младшего школьного возраста — приняли эту феерическую повесть-сказку (?) восторженно. Так, может быть, Радий Погодин, следуя советам критиков, просто-напросто вернулся «на круги своя»? Но как же тогда быть с «эволюцией писателя» — ведь она, эволюция, отрицает возврат к прошлому и пройденному! В том-то и дело, что в действительности нет никакого возврата, как не было и «разрыва», а был, есть и, хочется думать, будет писатель, художник Радий Погодин, никогда не ограничивающий свое творчество какими-либо рамками «детской» либо «взрослой» литературы.

Выше я говорил, что читатели «Искорки» хорошо приняли «Перейдем речку вброд» — должно быть, они увидели в этой вещи не только необычайные приключения, не только прямолинейного и оттого тяжело переживающего свое неожиданное поражение козла Розенкранца или мудрствующего воробья Аполлона, но нечто гораздо более глубинное, что, собственно, и делает книжку — Книгой.

А вот одна знакомая мне литературно образованная дама, прочитав «Перейдем речку вброд», категорически заявила: «Погодин зашел в тупик». Оказывается, ей непонятно, зачем и для кого написана вещь, и вообще — что хотел сказать писатель!

Разумеется, можно объяснить «зачем?», «для кого?» и «что?», но, во-первых, ответы на такого рода вопросы лучше всего искать в первоисточниках (хотя бы потому, что сколько толкователей, столько и мнений), во-вторых же — вынужден повториться — Радий Погодин никогда или почти никогда не адресует к определенному кругу читателей. Если этот, естественно, есть, существует, но это уже «кусочек из другой оперы». Проще говоря — это не причина, а следствие читательских вкусов, пристрастий. Если же говорить о читателях взрослых — еще и образованности, особенностях мышления, характера.

Обратимся, однако, к тем самым первоисточникам, которые суть творческая биография художника.

Первая книга Радия Погодина — «Муравьиное масло» — вышла в 1957 году. В коротенькой аннотации сказано: «В книгу входят семь рассказов, разных по характеру: есть среди них чисто юмористические, где в центре стоит смешной эпизод, забавный случай, происшедший с ребятами; есть лирические и, наконец, приключенческий, давший название всему сборнику».

Из аннотации, даже очень хорошей, трудно почерпнуть полезные сведения о книге. Так же трудно, как по первой книжке — причем книжке небольшой — угадать дальнейшую судьбу молодого писателя. История литературы знает немало случаев, когда писатель так и оставался автором первой, единственной книги либо столь резко и неожиданно менял свое литературное амплуа, что связь последующего его творчества с первой книгой могут обнаружить лишь многоопытные и дотошные литературоведы, знающие все и обо всех.

Радий Погодин остался верен себе, точнее — первой своей книге, хотя нужна определенная смелость, чтобы сравнить «Муравьиное масло» с «Ожиданием» или с «Осенними перелетами». Он и нынче пишет прозу, в которой всегда и непременно присутствуют тонкий юмор, необыкновенные, подчас прямо-таки фантастические приключения, прозрачный лиризм.

Прислушайтесь:

«Когда озера еще отделялись от земли хрупкими последними заберегами, когда проходящая дорога, в разгул дня — глубиной по колено, застыла к ночи, а по утрам становилась твердой, будто спаянной из серебристых глыб, когда почки деревьев еще клевали воздух, как льдистую скорлупу, потянули над Малявином первые журавли. Небо наливалось густым голубым цветом, будто древнюю голубец-краску журавли принесли на своих крыльях...»

Всякие невероятные происшествия нередко являются как бы основой произведений Радия Погодина: «Треньбрень», например, «Шаг с крыши», «Мальчик с гусьями», «Перейдем речку вброд». Но при всем при том Погодин очень далек от фантастики, он — на редкость земной писатель. Какие бы странные, на грани возможного, приключения ни случались с его героями, они всегда случаются на земле, в реальной жизни, с реальными, живыми людьми. И в этом, мне кажется, сила дарования Погодина.

Он фантазер, да. Но ни в коем случае не фантаст.

Сколько нами прочитано фантастических рассказов, повестей, романов! Прочитано с большим интересом — интрига, необычность происходящего, — но так ли уж часто нам приходилось забывать, что этого никогда ни с кем не случилось и, скорее всего, никогда не случится. Читая такие книги, мы помним, что имеем дело с фантастикой, то есть более чем с художественным доммыслом. А Погодину удается убедить меня, что происходящее в его книгах было в действительности. И я, человек взрослый, живущий в реальном, рационалистическом мире, верю, что погодинский Гришка в самом деле мог летать, потому что для этого нужно очень многое: сильно захотеть.

Вероятно, это один из парадоксов художественного творчества, когда читатель, заведомо зная, что такого не может быть, все-таки и верит, что такое бывает.

Но это еще и верный показатель большого таланта...

«Когда кот Василий проходил мимо дома Якова Ильича Шарапова, сиамская кошечка Мика вспрыгнула на подоконник.

Кот Василий споткнулся.

Кот Василий мерзко выругался от неожиданности. Наконец, кот Василий окаменел...»

(Не правда ли, все это «кот лукавого»? Ведь известно, что коты никогда не спотыкаются и уж вовсе не ругаются, тем более — мерзко. А впрочем...)

— Что вы сказали? — спросила Мика с приятным акцентом. (Какая точная, емкая деталь — кошечка Мика вроде как иностранка, потому что она сямская! — Е. К.) — Я вас не поняла. Что должны эти ваши слова означать? (Опять: обыкновенный русский дворовый кот сказал бы правильнее: «Что означают ваши слова?» — Е. К.) — Будучи очень юной, кошечка Мика впервые видела весну и живого кота. И она посмотрела смелыми небесно-голубыми глазами коту Василию прямо в сердце.

На мгновение коту показалось, что река вышла из берегов, проникла в него и протекла насквозь.

— Извините, — сказал кот Василий хрипло. — Я, так сказать, ненароком. Нечаянно, так сказать. — Кот Василий вдруг стал пустым, словно резиновый детский шарик, из которого выпустили воздух. Но текла сквозь него голубая река, и вскоре кот Василий почувствовал, как его существо наполняется легким и легковоспламеняемым газом и он готов полететь.

Кот Василий запел басом о птицах, о солнце, о травах, которые шелнут. О драках и о победах. Потом он сказал галантно (теперь можно, теперь, после песни о победах, к нему вернулись утраченные было смелость, отвага... — Е. К.):

— Сударыня, не желаете ли осмотреть окрестность? Вы, я вижу, не здешняя.

— Желаю, — ответила Мика без выкрутасов, — исключительно желаю...»

В этом отрывке из небольшой сказочно прекрасной повести «Мальчик с гусями» сконцентрированы, на мой взгляд, все основные качества погодинского таланта: и юмор — ну разве не улыбнешься, прочитав: «Кот Василий мерзко выругался от неожиданности», хотя слово «мерзко» как будто и вылезает из контекста, просится быть вычеркнутым; и необычное, по сути дела невозможное — весь диалог кота Василия с кошечкой Микой, но невозможное для человека, начисто лишеного фантазии, выдумки, не умеющего видеть дальше того, что видно невооруженным глазом; и, наконец, тонкий, я бы сказал, чувственный лиризм, который в особенности выделяет прозу Погодина...

И если в аннотации к «Муравьиному маслу» можно было, хотя тоже с натяжкой, писать о том, что среди рассказов есть «чисто юмористические», есть «лирические» и «приключенческие», то о более поздних вещах Погодина такого сказать уже нельзя, ибо каждая вещь его — крутой, прочный сплав всех качеств, заявленных в той, давней аннотации, и я бы не решился, даже близко зная писателя, ответить на вопрос, какой он писатель — по преимуществу?

Удивительный, — сказал бы я.

Удивительный в том смысле, что хороший, не часто встречающийся, но еще и потому, что он умеет удивляться сам и ненавязчиво, как бы оставляя место сомнения читателя, его здравому смыслу, учит удивляться других.

А это, право, непросто в наше время, когда разнообразные знания стали общедоступными, когда даже научная фантастика едва-едва поспевает за действительными достижениями ученых. Мы столько знаем, что удивить нас может разве что незнание.

Попробуйте-ка сами, без посторонней помощи, поудивляться тому, например, что листья на деревьях зеленые, — тотчас услужливая память подсказет вам что-то из школьной химии — и оказывается, удивляться-то вовсе нечему, хотя это и феномен! Попытайтесь удивиться тому, сколь догадливы и разумны бывают домашние животные — те же коты, собаки, — и вы немедленно вспомните что-то об условных и безусловных

рефлексах, об инстинктах, а то еще и о последних достижениях молекулярной генетики, и никогда нам не явится в голову мысль, что, питаемые знаниями и только знаниями (я ничуть не умаляю полезности знаний), мы осуждаем сами себя на духовный, чувственный голод, лишаем себя прекрасной возможности созерцать обыденное, но не обычное, потому что все окружающее нас — деревья, травы, реки, голубое небо и плывущие в нем облака — все это не копия, не оттиск с оригинала, но сам оригинал...

Почему же мы не хотим удивляться? А так легче, так проще. Да и зачем, к чему это — иначе?..

Мы прекрасно знаем, что если в 13.07 отправляется наш поезд, значит отправится в это время именно поезд, а не пароход. Тем паче — не розвальни, в которые запрягли волка или там козла. Такое, даже оставаясь всего лишь выдумкой, допущением, претит нашему рациональному сознанию, потому что нарушает раз и навсегда созданный стереотип. А необходимость-то в хорошей выдумке, в невероятном и невозможном мы испытываем постоянно — и будучи детьми, когда не стыдимся этого, и делаемся взрослыми, когда нам почему-то стыдно признаться, что мы любим сказки. Если это не так, почему тогда столь непреходящий интерес к книгам Андерсена, Свифта, Чуковского, Жюль Верна, Марка Твена, Гофмана?.. Интерес этот ведь не объяснишь только талантом писателя, ибо нет альтернативы «что?» или «как?» Формула эта неразрывна, двуедина: «что» и «как».

«Сиделись журавли на болоте и, не скрываясь, устало ходили, сламая тонкие ноги, чтобы согреть их по очереди под крылом, и все окунали клювы в мертвую воду, бурлили ее — будили, чтоб ожила, чтобы все оживила. «Попал!» — кричали они».

Прозу Радия Погодина надо не просто читать. Ее надо слушать. Ибо она как хорошая музыка, и вся — из оттенков, из полутонов, из тех зорко и точно подмеченных деталей, мелочей, которые видят все, а замечают немногие. Пожалуй, Погодина даже можно упрекнуть в некоей упрощенности — он вроде бы не открывает ничего нового, ничего такого, чего бы я не знал прежде, не видел до него. Но именно эта земная простота создает ту доверительную атмосферу, какая присуща всем без исключения вещам Погодина, как бы сложны по своей философии они ни были.

Очень непростая и нелегкая для чтения драматическая повесть-фантазия «Трень-брень». Я знаю людей, искренне любящих талант Погодина, которые не могли прочесть эту книгу. Дело не в том, кто виноват — автор или читатель? Тем более — и в этом Игорь Мотяшов несомненно прав — «Трень-брень» как бы переходная вещь для самого Радия Погодина. Вырос писатель, заметно подросли его герои и, повзрослев, столкнулись с проблемами, которые прежде — еще совсем недавно — существовали вне их сознания, вне их понимания.

Мир сложен, многокрасочен и многообразен — не вдруг разберешься, что к чему и зачем...

Но смотрите, как просто, обыденно даже начинается повесть:

«Утро было раннее, солнце нежаркое. Ветер нес к самолетным стоянкам осенние листья».

Самолеты решительно набирали скорость. Они красовались силой и, как молодые, удачливые спортсмены, уходили в самое поднебесье. Те, что шли на посадку, победно ревели и, наверное, гордились собой...»

Здесь все сама кажущаяся простота. Все это вы и сами видели десятки, если не сотни раз. А все-таки уже сложилась — не правда ли? — цельная картина непод-

дельного, всамделишного мира, утра, и сквозь эту каждодневность, с которой вполне могла бы начинаться любая повесть любого автора, сквозь нее тоненько-тоненько, наподобие струйки дыма, возникшей с помощью увеличительного стекла, пробивается не то ожидание, не то тревога...

С чего бы это?

Прочтите еще раз — и лучше вслух и медленно — этот кусочек.

Спокойная, неподвижная первая фраза. Столь же спокойная, но уже с возникшим движением — «ветер нес...» — вторая. Однако в этом движении, которое воспринимается как само собой разумеющееся, потому что очень точно гармонирует с первой фразой, вытекает из нее, нас ничто нестораживает. Сознание наше готово впитать в себя еще одну идиллическую картинку нарождающегося дня: осень, утро, легкий ветерок... Попытайтесь продолжить это описание, и вы убедитесь, что сюда просится фраза о редких прохожих, о том, как шуршат под ногами и под колесами автомобилями опавшие желтые листья...

Все правильно. Вполне логичное, вполне оправданное движение мысли. Ассоциации возникают как бы сами по себе, без нашего вмешательства. Они уже существуют в нашем сознании, аккуратно уложенные, накрепко связанные друг с другом. Если осень — значит, опавшие, желтые листья. А если листья опадают — они обязаны шуршать.

Художник разрывает привычные связи. Нет больше идиллии. В спокойной, тихое утро диссонансом врывается: «Самолеты решительно набирали скорость». Вот тут и возникает непонятное еще чувство ожидания, тревоги...

Зачем, казалось бы, вообще первый абзац? Бери быка за рога, и прямо — о самолетах. Ведь так динамичнее, острее. Но тогда читатель не был бы подготовлен к восприятию дальнейших событий, которые тотчас наваливаются на нас, и многое осталось бы непонятным, потому что события, составляющие основу повести, не стереотипны. А не взломав, не разрушив стереотип, «отпечатанный» в нашем сознании, нельзя ввести читателя в сложный мир, созданный прихотливой фантазией.

Проще говоря, читателя нужно подготовить, создать у него определенное настроение, дать ему в руки ключ, с помощью которого он сумеет открыть калитку в этот мир неожиданных ассоциаций, в мир, который живет пока только в сознании художника.

Не всегда и совсем не обязательно калитка открывается таким образом. Другие делают это иначе. Бывает иначе и у Погодина. Все зависит от задачи, поставленной писателем перед собой.

Прекрасная повесть «Дубравка» начинается и очень похоже и очень непохоже.

«Дубравка сидела на камне, обхватив мокрые колени руками. Смотрела в море.

Море напоминало громадную синюю чашу. Горизонт далеко-далеко; видны самые дальние корабли. Они словно поднимаются над водой и медленно тают в прозрачном воздухе».

Похожесть очевидна: те же два абзаца, и даже одинаковое количество фраз — пять. Две в первом абзаце, три во втором. Тот же ритм, та же мелодия, тающаяся в себе ожидание, тревогу, а вот интонация совсем другая. Здесь ничто не диссонирует, не заявляет о себе во весь голос, как это делают самолеты, — слова хочется повторять шепотом, потому что громко нельзя: Дубравка думает. И вы прислушиваетесь к ее мыслям, текущим неспешно, повторяющим движение волн, вы с удовольствием посидели бы рядом с Дубравкой,

поглазели бы в прозрачные морские дали, погрузились бы, должно быть, ибо созерцание всегда вызывает грусть. Помолчали бы...

Такова осязаемость впечатления.

«Дубравка пела песню. Она пела ее то во весь голос, то тихо-тихо, едва слышно. Песня была без слов. Про птички следы на сыром песке, которые смыло волной. Про букашку, что сидит в водяном пузырьке, оцепенев от ничтожного страха. О запахе, прилетающем с гор после дождя...»

Всего несколько строчек, составленных из простых, обиходных слов, а вы уже вошли в тонкий, как паутинка, и нежный, как месяц май, мир Дубравки, где все — открытие, где все — сама чистота. Это мир ребенка, который уже почти взрослый, но и мир взрослого, который все-таки еще ребенок. Здесь все зыбко, неустойчиво, как море на восходе солнца. Здесь нельзя выпачкаться, но очень легко выпачкаться...

Писатель — не только автор книг, но и первый их читатель. Первый и, как правило, самый строгий судья. Акт художественного творчества делится как бы на две части: сначала писатель выступает в роли автора, в какой-то мере и в роли диктатора, потому что, что бы там ни говорили о самостоятельной жизни героев, об их некоей бесконтрольности, это правда только наполюину. Верно, что поступок диктуется характером. Но и характер проявляется в поступке, в действии. После, когда вещь написана, автор превращается в читателя. Он судит о написанном уже со стороны, опираясь не столько на свой опыт художника, сколько на опыт житейский. Поэтому, должно быть, отношение писателя к своим героям во многом зависит от его характера, от его понимания добра и зла. Можно быть «злым гением». Однако трудно представить человека злого, склочного и самовлюбленного, для которого заботы и радости других всегда ничемны и смешны, в роли доброго художника, умеющего услышать и почувствовать боль другого...

Творчество Радия Погодина — прекрасное, яркое тому доказательство. Хотя доказательство и «от обратного».

Он добр, внимателен к людям в жизни. Он одинаково добр и внимателен к своим героям. Бывает, его поругивают за «нечеткость авторской позиции», за нейтралитет по отношению к героям явно отрицательным. Вот прекрасная повесть-трагедия «Леший».

Погодина критиковали за то, что он не осудил героя этой повести Кузьму Прохорова. Можно понять оппонентов, требующих даже не простого осуждения, но возмездия. Так должно быть. Но разве обязательно, чтобы возмездие свершилось руками, то есть устами писателя? Разве не выпуклее, если хотите — не поучительнее трагедия Кузьмы Прохорова оттого, что он сам выносит себе приговор и приводит его в исполнение? Нет, не от страха он делает то, что сделал. От понимания, которое явилось ему, хотя и с опозданием, своей ненужности...

«Кузьма взялся за веревку большого колокола — и над свободной уже землей поплыл тяжелый, горестный звук, медленный и торжественный, как течение большой реки.

Потом Кузьма сел рядом с Володькой на солому, взял свою винтовку за ствол и, глядя не в точное дуло, а в Володькины глаза, в которых навеки застыла радость, нажал на спуск большим пальцем ноги».

Так уходят из жизни только люди, пережившие и осознавшие свою трагедию. А страх заставил бы Кузьму лишь закрыть глаза...

Мне кажется, все дело в том, что Радий Погодин сознательно — подчеркнуто сознательно — отказывает

себе в праве быть судьей, а тем более обвинителем. Себя он может судить и судит. К себе, к своему творчеству он строг и даже беспощаден, а что касается других...

По всем канонам инвалид-нищий из книги «Ожидание» — персонаж также отрицательный. Помельче, чем Кузьма Прохоров, но отрицательный. Он выдает себя за героя войны. Пользуясь отзывчивостью людей, выманивает у них пятаки и гривенники. В действительности же он никакой не инвалид и тем более не герой. Человек, достойный осуждения, презрения. Судите. Презирайте. Автор не имеет ничего против. Однако, взваливая на себя тяжкое бремя судебных обязанностей, загляните в человеческую душу. Не хотите?.. Вот и мать Вандербуля (Васьки) тоже не хочет. Ей все ясно, и потому она, ничуть не сомневаясь в собственной правоте, говорит мужу:

«— Ты, кажется, не так ему объяснил. Ты бы ему сказал, что этот человек пьяница и бездельник... Что ноги он потерял... ну, попал под трамвай, что ли».

Обратите внимание: она совершенно не знает этого «пьяницу и бездельника». Да и зачем ей знать конкретно его, когда она знает пригодную для любого случая общую формулу: «Плохо есть плохо!» А Радий Погодин с присущими ему добротой и вниманием пытается и в плохом найти что-то хорошее, пусть в самом зачаточном состоянии. Найти даже в этом потерянном, опустившемся человеке.

Можно спорить — нужно это или нет, но ведь художник — не официант, подающий к столу апробированные, бесспорные истины! Художник вправе только обратить наше внимание на явление, повернуть нас лицом к человеку, мимо которого, пребывая в постоянной спешке, мы могли бы и пройти, не заметив его. Писателю важно остановить нас, задержать, потому что иначе мы не сумеем понять и Вандербуля, этого маленького любознательного человечка, который живет в большом городе и познает мир не по учебникам, где все ясно; он читает книгу жизни, в которой отнюдь нет «просвещенческой» ясности и безапелляционности, но именно эта книга сделает или не сделает его человеком. И, право, чем больше он увидит и поймет сегодня, тем большего можем ожидать от него завтра.

Потому и необходима вот эта, например, сценка. «Мужчина шевельнулся, сел поудобнее, скосил на Вандербуля глаза. Вандербуль улыбнулся ему. Для храбрости хлопнул отсыревшим носом и протянул руку:

— Вандербуль.

Мужчина одним пальцем опустил его руку.

— Подходяще. А я вот на облака люблюсь. Красота. Иные — как звери. Иные — как корабли...»

Оказывается, и такой человек способен воспринимать окружающий мир поэтически, не довольствуясь очевидностью, и потому мы понимаем Вандербуля, когда он влюбляется в этого «героя» войны, сочувствуем Вандербулю, когда его пытаются поставить лицом к правде. Скоро Вандербуль и сам разочаруется в своем «герое», увидит обман. Он прочтет еще одну страницу из самой интересной, самой сложной книги — из книги жизни, однако разочарование наступит не в результате постороннего внушения вполне ординарной и уже поэтому не всегда справедливой формулы. Постигание правды придет в результате собственного познания, наблюдения, и тем оно дороже, нужнее.

Да, Вандербуль что-то потеряет. Но и найдет, ибо в жизни ничего нельзя взять, не отдавши чего-то взамен. Иначе грош цена была бы нашим знаниям и даже нашему счастью, потому что, как говорит Федор Иванович из «Перейдем речку вброд», «Счастье — дело тяжелое. Трудное дело...»

Он поймет, что рядом с прекрасным возможна мерзость, но и мерзость — хотя бы и вопреки нашим желаниям — не существует сама по себе, вне связи с жизненными реалиями. И пусть в итоге правдой оказывается мать Вандербуля, нам все-таки ближе позиция его отца, который не выносит окончательных приговоров. Не выносит их и Радий Погодин. В конце концов, в любом процессе, кто бы ни сидел на скамье подсудимых, вместе с судьей и обвинителем на равных с ними права принимает участие и защитник. Его роль ничуть не менее важная, чем роль судьи или обвинителя, а люди — все мы, чего греха таить! — очень часто бывают невнимательны к себе подобным, занятые решением глобальных проблем. Но кто-то же должен подарить людям свое внимание, свое участие, частичку своей доброты...

● КРУГ ЧТЕНИЯ

Нравственный выбор

«Доказательства» — так называется книга молодого ленинградского писателя Валентина Тублина¹. Тем, кто следит за литературно-художественной периодикой, это название, вероятно, напомнит повесть, опубликованную журналом «Звезда». Именно эта повесть и дала название новой книге, стала ее кульминацией, к пониманию которой подводит нас цикл рассказов под общим названием «Несколько историй из жизни Зубова».

Собранные под одной обложкой, они дают более полное представление о герое: в рассказах это студент, а затем инженер-дорожник Зубов; в повести — в прошлом инженер-дорожник, а ныне начальник транспортной группы проектного института Сычев. Таким образом, читатель книги имеет возможность проследить, как формировались те нравственные принципы героя, которые впоследствии придут в столкновение с узкой жизненной философией его бывшего институтского товарища — Льва Григорьевича. Их разговор как бы подводит итог повести «Доказательства», и мы еще вернемся к нему.

А пока откроем рассказ «Вы уедете завтра утром». Суть его такова: два студента приехали из Ленинграда в небольшой южный город Баймак на производственную практику. Однако на месте выяснилось, что они здесь не нужны. Выход, правда, есть.

«— Сочиняйте отчеты, — говорит им начальник дорожно-строительного управления, — я их подпишу, отмечу путевку любым днем — и по домам».

Типичная для многих произведений Тублина нравственная альтернатива — надо лишь сделать выбор.

Один из двух — Юдин — согласен. И все можно было бы уже оформить документально, однако молчит его товарищ — Зубов. Но нет, сомнения в сторону — он не уедет, он будет работать.

Так студенты оказались в тайге на укладке труб. И только спустя два месяца, когда работа подошла к концу, им открывается великий нравственный смысл одержанной над собой победы.

¹ Валентин Тублин. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА, «Советский писатель», Л., 1974

«Раствор высыхал на глазах. Наверху оголовка Юдин красиво выдавил: «Г. Зубов и А. Юдин». И дату поставил.

Несколько минут они стояли молча и смотрели на свою последнюю трубу... Когда еще в жизни им придется самим укладывать трубы? Возможно, что никогда. Скоро они станут инженерами, а может быть, и главными инженерами. Но никогда они уже не скажут: вот это наша труба. И эта, и вот та — тоже. Здесь не было ничего, а теперь здесь наши трубы. Хотите — можете их потрогать.

Им было очень грустно».

Так в небольшом рассказе Валентин Тублин описал чувство, знакомое многим поколениям молодых создателей — от Павки Корчагина в двадцатые годы до рядового бойца студенческого строительного отряда в наши дни. Это чувство перерастает впоследствии в твердость нравственной позиции героя, которая становится активной, воздействующей на других людей силой.

«К празднику домой» — название другого рассказа, в котором читатель вместе с Юдиным, теперь уже инженером, совершает трудный путь из болотистой тайги в сторону Ленинграда, куда тот хочет поспеть к празднику домой, покинув своих товарищей по изыскательской партии.

И вот, когда он уже едет в поезде и позади остались все препятствия, мы становимся свидетелями острой нравственной борьбы, происходящей в нем.

Тублин не ищет простых решений. Он ставит героя перед нравственным выбором, раскрывая перед читателем сложную цепь человеческих отношений. Вновь и вновь утверждает он порой забываемую истину: только поступки просты, мотивы же их бесконечно сложны. Даже во сне перед Юдиным возникают лица товарищей. Укор и презрение, которые чудятся ему в глазах Зубова, заставляют его сделать единственно правильный выбор. На ближайшей станции он покупает билет в обратном направлении.

Эти отдельные эпизоды или, как их называет автор, «истории из жизни» обретают новое качество в повести «Доказательства». Она по сути своей полифонична. Здесь мы узнаем темы, которые встречали в ранних произведениях автора. О жизни строителей-дорожников Валентин Тублин писал в повестях «Тугая тетива» и «Встреча с другом».

Мы помним и другую повесть — «Испанский триумф», дань его увлечению историей. Действие в ней происходит в канун падения Римской империи.

Новое произведение — «Доказательства», по воле причудливой фантазии автора, вобрало в себя все эти мотивы, обогатившись еще одним: через все повествование проходит тема благородного служения спорту.

Герой повести Игорь Сычев, в прошлом инженер-дорожник, а ныне начальник транспортной группы института «Гипроград», увлекается историей и стрельбой из лука. И эти, на первый взгляд, далекие одно от другого увлечения соединяются в его воображении, позволяя ему, Игорю Сычеву, гулять по Шервудскому лесу с песенкой Робин Гуда на устах, или, например, принять участие в Троянской войне, которая в наше время неизвестна трансформировалась в «Международные соревнования по стрельбе из лука».

Однако содержание «Доказательства» неизмеримо шире и глубже, нежели спортивная тема, организующая сюжет. Это повесть о месте человека в жизни, о главной цели существования, о любви и дерзании, о праве быть самим собой — словом, о тех проблемах, которые волнуют каждого молодого человека. А ведь известно, что нет лучшего способа разобраться в себе, чем понять другого — такого, к примеру, каким яв-

ляется герой повести «Доказательства». При всем том в нем нет усредненности. Он настолько индивидуален, что мы верим в реальность существования некоего Игоря Сычева, в то, что он мог бы стать нашим другом или просто приятелем, прийти на помощь или попросить о ней. Вот почему нам интересно читать эту, как выразился автор, «повесть об обыкновенном человеке».

Нельзя сказать, что жизнь его складывалась гладко. После института инженер Сычев строил аэродром в большом южном городе, потом работал в тайге... Но вдруг почувствовал, что уходит от себя, от того большого, на что действительно способен. Уехал в Ленинград и теперь работает в проектно-институте. И здесь нам важно понять внутреннюю причину его скитаний. Нет, он не искал легкой жизни, не гнался за большими заработками и положением. Желание быть самим собой, приносить наибольшую пользу обществу заставляло его переезжать из города в город, менять одну профессию на другую.

И вот теперь Сычев работает в интереснейшей лаборатории, где проектируют города будущего, в окружении редкостно талантливых людей. Но в нем вновь пробуждается чувство, что он делает не то единственное дело, ради которого только и стоит жить.

А это единственное дело открывается ему в спорте — в стрельбе из лука. Стрелять самому, а главное — стать тренером, учить молодых Робин Гудов, членов бескорыстного лесного братства.

Но право быть самим собой не спускается свыше, за него нужно бороться. Таков смысл его конфликта с начальником и бывшим институтским товарищем Львом Григорьевичем.

После отборочных состязаний Сычев был включен в сборную страны для поездки в США на мировое первенство. Казалось бы, что он вышел на финишную дорожку самоутверждения, где он может испытать себя в состязании с сильнейшими из сильнейших стрелков мира и — кто знает! — может быть, прибавит еще один лепесток к венку спортивной славы своей Родины.

Все складывается как нельзя удачнее, осталось лишь подписать у Льва Григорьевича заявление на отпуск за свой счет для участия в соревнованиях. Скажем сразу — Лев Григорьевич не подписал заявления и поступил так, как он убежден, в интересах старого институтского товарища. И тогда Сычев, желая получить доказательства своей правоты, задает собеседнику три вопроса:

«Думает ли он, что гений и злодейство — две вещи несовместные?»

«Как он относится к Гекубе?»

«Что стало бы с миром, если бы Одиссей не принял участия в Троянской войне?»

«Ах, бросьте вы», — слышит он в ответ и объясняет: «Первый вопрос — о гении и злодействе — это вопрос об отношении к самому себе и к своей душе; второй — об отношении к другим; а третий — об отношении к истории, к тем силам, которые участвовали в создании прошлого, которое есть не что иное, как начало нашего настоящего и будущего. И все это вместе взятое, — заканчивает Сычев, — говорит о том, что вы за человек».

И нас, читателей повести, автор также испытывает этими внешне замысловатыми вопросами, чтобы с их помощью задать главный: «Зачем мы живем?»

Новая книга Валентина Тублина заставляет задуматься о своем месте в жизни, о нашей ответственности за судьбы других людей и о многом другом. Она учит жить. А это и есть верный признак настоящей литературы.

Олег Любин

Понимать начинаю тепло...

Который раз — и сейчас вот, над первой книгой стихов Натальи Галкиной¹ тоже, — убеждаюсь: истоки, корни творчества уходят в детство. И чем сильнее, чем напряженнее духовная жизнь детства — тем крепче корни таланта, тем ярче образная структура письма, тем чище и глубже чувства. То же самое ощутил я недавно, читая изумительную по сердечной обнаженности своей «Оду русскому огороду» Виктора Астафьева.

С каждым шагом от детства оно представляется все монументальней, отдельные черты его — все телескопичней. Поэт смотрит в свое прошлое не для того, чтобы умиляться ему, а для того, чтобы понять себя и найти силы двигаться дальше.

Страна, где каждый час был первым,
Где каждый шаг был шаг вперед,
Страна метафор и гипербол,
Не закрывай своих ворот!

Поэт не просто вспоминает детство. Он как бы конструирует его заново, культивирует в себе непосредственное, яркое видение, аналогичное детскому. Поэтому стихи о детстве — это всегда стихи о том времени, когда они написаны.

Развитие поэтического мира Натальи Галкиной классически традиционно. Все периоды становления души лирического поэта находят свое отражение в стихах. Деление сборника на части подчеркивает эти периоды: вот великое детство, вот зрелая юность, вот юная зрелость...

Книга составлена умно и помогает читателю ощутить трудное развитие поэта — от памятных детских снов, от образа девочки-Музы («...школьница с тетрадкой, с уроков мчащая в сады...») к зрелости, к осознанию себя в мире: «Жестокие, ясные нынче утра: пронзительный климат, ветра до костей...», к «Тосту», наконец, с его мужественным, открытым чужому горю пафосом. Принять на себя чужие печали — не значит ли это принять на себя ответственность за то, что происходит на земле? Не с этого ли начинается подлинный поэт?..

Своих невпоровот
Обид и черных дней,
Но с Пулковских высот
Чужие мне видней.

Когда поэт говорит: «Понимать начинаю тепло...», ему веришь, и веришь безоговорочно, потому что признание это — проникновенно, сдержанно, без шумных эскападов.

Поэзия Натальи Галкиной сосредоточена на становлении души, она чутко прислушивается к тому, что растет в человеке. Я вижу, как непросто возникают связи лирической героини с миром, с каким искренним облегчением обнаруживает она в себе способность смотреть на вещи мудро и просто, принимая жизнь такой, как она есть, радуясь ее радостям и печальясь ее печальями, находя красоту в самом обыденном...

Поэзия Галкиной — с широким ассоциативным захватом, с настойчивым стремлением философски осмыслить индивидуальное человеческое бытие. В этой связи я хочу обратить внимание будущего читателя

книги на поэму «Сад», представляющую собой развернутую, растущую вглубь и вширь метафору. Сад у Галкиной — аллегория некоего храма природы, куда человек идет с болью, с сомнениями, в поисках правды. Сад «непритворностью» древесной жизни своей судит человека «по-честному». Вместе с горячей исповедью приходит к поэту понимание: «Я заодно с толпой деревьев...», философское осознание себя частицей целого.

Высокая тревога звучит в стихах «Наши следы, боногоние лапы...» Поэт глубоко переживает противоречие между хрупкостью индивидуального существования и вечной невозмутимостью природы. Здесь — тютчевская интонация, но по-своему, современно выраженная.

Тему диалектического противоборства единичного и общего, тему неповторимости личности слышу я в монологах «Эвридика» и «Сотворение мира». Легенда, древний эпос, условная маска помогают поэту подняться над повседневною, достичь возвышенного звучания.

Лучший из монологов, на мой взгляд, — монолог Эвридики. Лучший потому, что в нем — свежий сколок страсти, видны зазубрины, чувствуешь боль. «Ты ли не чудо, мой свет, спящий под боком, в мире огромных планет, в мире жестоком!» Это говорит не легендарная Эвридика, а живая, современная женщина, и когда она дважды восклицает: «Нет, мне не страшно, Орфей, нет, мне не страшно!» — я вижу: ей страшно, но, жалеючи любимого, она свято лжет...

Монолог Эвридики открывает нам еще одну сторону, грань таланта Натальи Галкиной — его завораживающую музыкальность. Монолог написан на одном дыхании, ритм захлебывается, обгоняет слова. Все тело этого стиха — музыка!

Разнообразно градуированы чувства поэта — тут и умное лукавство («Дождь и солнце — царевна плачет...»), и открытая, ничем не смущаемая радость творчества и бытия («С какого дерева опали...»), «Яблока зрелость в преддверии...»), и реквиемная суровость стихов «Памяти Вадима», и языческая сила убеждения в монологе Лилит...

Я послал книгу Натальи Галкиной другу своему, филологу, в другой город. В ответном письме я нашел строки, посвященные «Горожанке», — точную и по-женски тонкую оценку стихов. Я не удержался от искушения процитировать здесь отрывок из письма — испросив, разумеется, разрешения автора:

«Поэтесса — такое нежное, милое создание и, бесспорно, талантливое, но еще будто не знающее всю себя (да так оно и есть). Пробует себя и так и этак... То девочка воздушная, Золушка, то пишет по-женски, даже грубо. А впрочем, противоречия нет: все в ней. И есть стихи изысканно-простые: «А мы и вправду на крыльце сидели...» В этой книжке стихи светятся, от них тепло, и потому их будут любить.

Только почему «Горожанка»? И Михаил Дудин об этом пишет в предисловии своем, даже исходит из этого. Но тут столько иного, всякого, что, право, жаль прикреплять всю книгу к какому-то именованию...

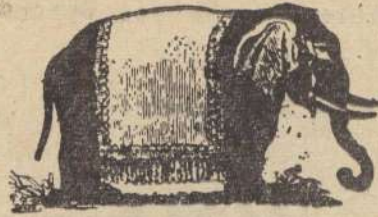
Для поэта, вырастающего на утонченной и изощренной лирической гряде, гипноз готовых поэтических формул, наверно, неизбежен. Вопрос в том, как скоро справится поэт с этим гипнозом, преодолит тяготение мощных поэтических планет.

В одном только я с другом своим не согласен. По-моему, очень точно это — «Горожанка». Реакция поэта, оценки его, мирозерцание — все отсюда. Он, поэт, — не внутри природы (и не в конфликте с нею!), он стремится к ней как бы извне, словно бы возвращается к природе, пытается заново приобщиться к ее жизни.

Александр Крестинский

¹ Наталья Галкина, ГОРОЖАНКА. Лениздат, 1974

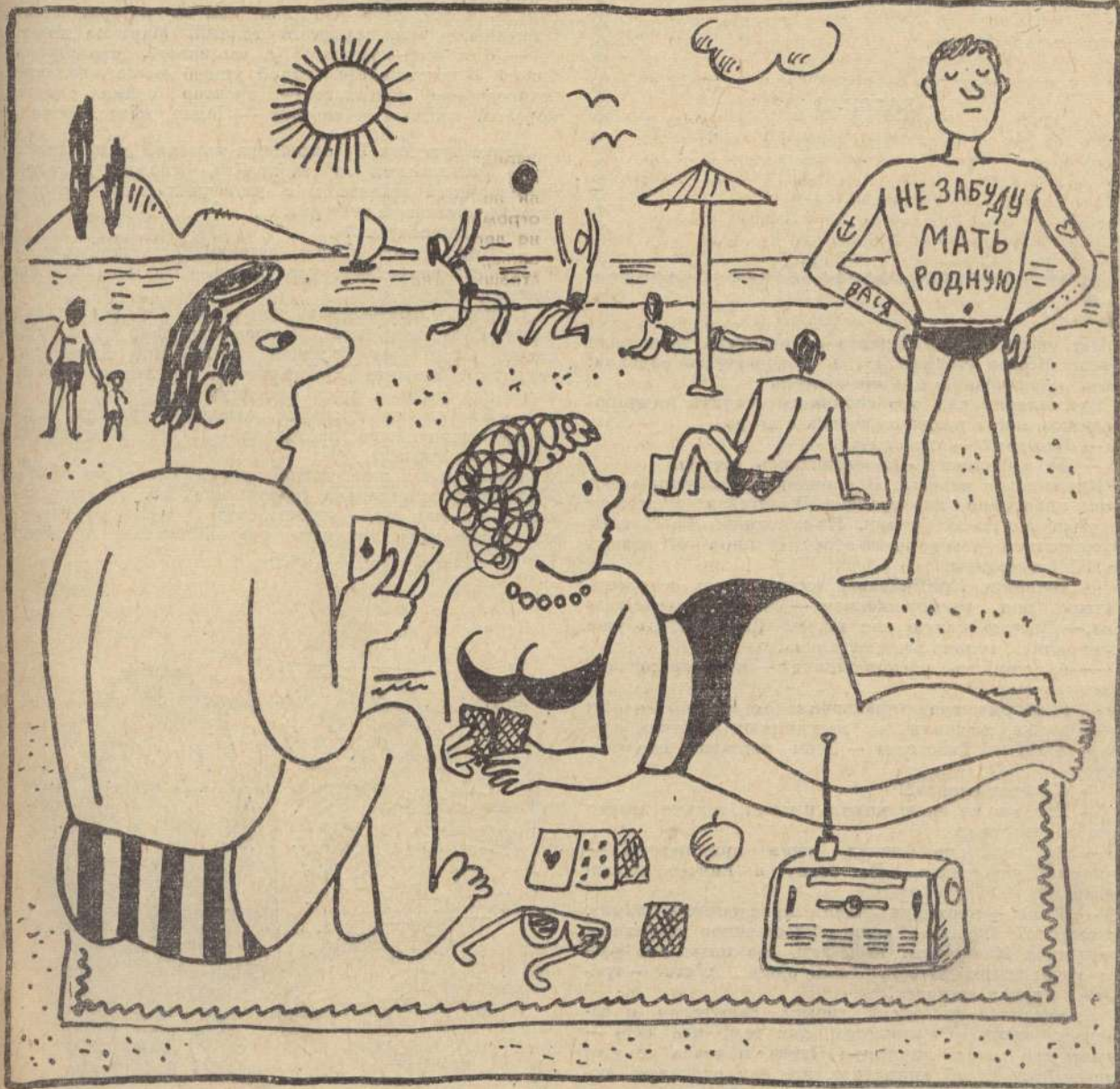
СЛОН



ВЫПУСК

63

ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ



—Напомни мне, Маня, чтобы я маме письмо написал...

Рисунок Леонида Каминского

Давид Железняков

СЛОН

РАССКАЗ

Нет, пайщику жилищного кооператива тоже надо иногда быстро соображать, а в некоторых случаях, пусть и неосознанно, — предвидеть!

Кримпленов как раз собирался жарить яичницу-глазунью, когда раздался звонок в дверь.

— Кто там? — спросил он.

— Из правления! — послышалось оттуда.

Кримпленов открыл. В коридоре и впрямь стоял член правления кооператива Галогенов и держал в руках какую-то бумагу. Из-за спины Галогенова выглядывала пенсионерка-общественница Клюквина из 132-й квартиры.

— Товарищ Кримпленов, ознакомьтесь и распишитесь под распоряжением, — сказал представитель. — Неделю целую вас ищем. Все жильцы уже расписались, только вы и остались.

— А что за распоряжение? — поинтересовался Кримпленов.

— Распоряжение правления о том, чтобы жильцы не держали на лестничных клетках слонов, — ответил Галогенов. — Всем жильцам под расписку.

— К-каких слонов?!

— Вот уж не знаю каких именно, только велено всем подписаться.

— Вы что, за психа меня принимаете?! — взревел Кримпленов. — Не стану я ничего подписывать.

— Та-ак, — протянул член правления. — Значит, не станете? Обратите ваше общественное внимание, гражданка Клюквина: весь дом, сто пятьдесят членов кооператива то есть — как один... А этот — грамотнее других, думает...

Кримпленов не очень громко выругался и хлопнул дверь. «С приветом они там, что ли?» — думал он, жаря яичницу. Через полчаса он уже начисто забыл об инциденте, но, как оказалось, совершенно напрасно...

Прошла неделя. Кримпленова в обед вызвал директор.

— Так как же это, товарищ дорогой? Слонов на

лестничной клетке разводите? От общественности сигналы поступают!

— Каких слонов? — удивился Кримпленов. Потом вспомнил: — Нету у меня никакого слона!

— А где же он?

— К-как где? Не было. Я вообще в жизни слона не видел живого, только в кино.

— Может, не будем крутить, Кримпленов? — рассердился директор. — Как это не было? А сигналы?!

— Ну хорошо, — сообразил Кримпленов. — Признаюсь: был у меня слон. Индийский. Знакомый магараджа прислал. Но больше нет. Попросился погулять, и вот уже два дня как не возвращается. Наверное, удрал, паршивец эдакий. Март на дворе!

— Как это — удрал?! Да вы знаете, что теперь будет? Представляете, какой ущерб может нанести безнадзорное животное! — Директор отпил глоток нарзана, поостыл и сказал: — Ладно, идите. Пока...

Через три дня Кримпленова вызвали в милицию.

— Распишитесь и забирайте, — сказал молодой симпатичный лейтенант с университетским поплавком на новенькой тужурке.

— Кого забирать?

— Как кого? Слона вашего! Еле поймали. — Лейтенант приветливо улыбнулся. — Ну и задали вы нам мороки!

Спорить Кримпленов не стал. Он расписался в какой-то ведомости, вышел во двор и забрал слона. Слон был большой и на вид совсем не сердитый. Завидев Кримпленова, он тотчас доверчиво, как ребенок руку, протянул ему хобот.

— Больше не пускайте одного! — крикнул вдогонку симпатичный лейтенант. — И без намордника чтоб не выводили!

Кримпленов шел домой и вел слона за хобот. Прохожие почтительно сторонились. «А все-таки хорошо, — думал он, — хорошо, что я тогда не расписался под этим дурацким распоряжением. А иначе где бы я теперь слона держал?»

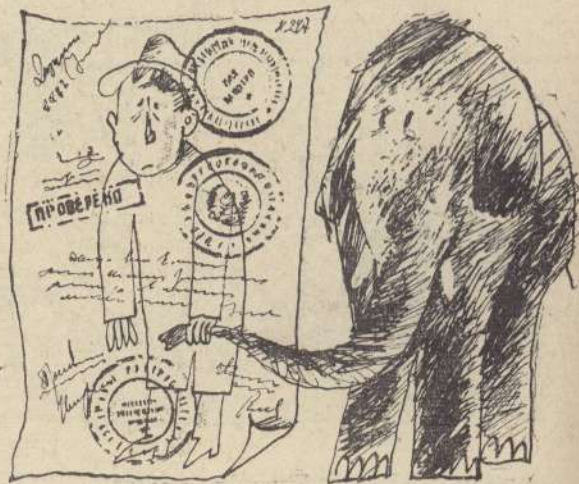


Рисунок Геннадия Никеева

Из новых английских

старинных баллад



Сегодня под нашей постоянной рубрикой «ПЕРЕВОДНЫЕ КАРТИНКИ» мы публикуем переводы двух старинных английских баллад. Их переводчик — харьковский поэт Владимир Левин сообщил об интересной судьбе этих произведений: оказы-

вается, эти баллады почти неизвестны англичанам, так как подлинников их найти не удалось. Скорее всего они не были даже написаны. Тем интереснее познакомиться с их переводами.

Баллада о последнем свидании

Он говорил ей:

— Через час
Я вас покинуть должен.
Она:
— Идите хоть сейчас.
Мне с вами скучно тоже.

Он говорил:

— Я приглашен
На королевский ужин.
Там будет стол на сто персон.
Она:
— Для вас же хуже.

Он говорил:

— А наш король
Меня ужасно любит.
Она:
— Я чувствую, любовь
Вас, милый мой, погубит.

Он:

— Пробыл час. Идти пора.
Она в ответ вздохнула.
— До встречи, — прощентал баран.
— Прощай, — овца кивнула.

Очень вежливый разговор

Один англичанин толкнул
англичанина

И тут же сказал:

«Извините.
Нечаянно».
Второй англичанин
Любезно ответил:
«Простите,
Но я
Ничего не заметил».
«Нет-нет,
Это вы, ради бога, простите!»
«Простите,
Но что мне прощать,
Объясните!»
«Как — «что мне прощать»?
Неужели не ясно?»
«Сэр,
Вы беспокоитесь, право, напрасно:
Я рад бы простить вас,
Но мне не понять,
Что именно
Должен я вам извинять!»
Тогда
Англичанин
Толкнул
Англичанина
И сразу сказал:

«Извините.
Нечаянно».
На что собеседник
Любезно ответил:
«Простите,
Но я
Ничего не заметил».
«Нет-нет,
Это вы, ради бога, простите!»
«Простите,
Но что мне прощать,
Объясните!»
Тогда
Англичанин
Толкнул
Англичанина
И сразу сказал:
«Извините.
Нечаянно».
Но тут
Собеседник ответил иначе:
«Простите,
Но я вам, пожалуй,
Дам сдачи!»
И вежливо-вежливо
Два англичанина
Друг друга
До ночи
Тузили
Отчаянно.

Евгений Юрченко

МОЛОДОСТЬ,
МОЛОДОСТЬ...

В квартире раздался телефонный звонок.

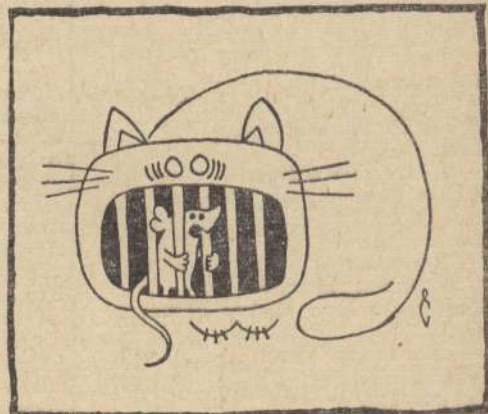
— Алло, вас слушают.
— Наташу можно попросить?
— Вы не туда попали, здесь такой нет.
— Как нет? Ведь у вас позавчера родилась дочь, и вы назвали ее Наташей!
— Да, но... она еще не приехала из родильного дома.
— А когда приедет?
— Послезавтра.
— Передайте, что звонил Саша.



САЛОН
СЛОНА

Художники-любители. Что это такое? Обозреватели полагают, что это люди, которые очень любят рисовать, несмотря на то, что имеют другую, вполне приличную профессию. А вот при ленинградском Дворце культуры им. М. Горького уже пятнадцать лет существует студия, где собираются особые любители. Вместо натюрмортов и гипсов они рисуют карикатуры, юмористические рисунки и даже сатирические плакаты. Постоянный шеф этой студии — коллектив сатириков «Боевой карандаш». Обозреватели задали несколько вопросов руководителю студии, — художнику «Боевого карандаша» Борису Иванову:
— Студия организует выставки?

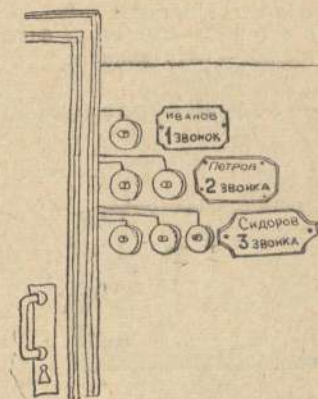
Юрий Гринберг



Георгий Светозаров



Андрей Фельдштейн



Василий Дубяго

— А как же! Ежегодно. Кроме того, мы были участниками двух всесоюзных выставок самодеятельных художников. (Показывает красивые дипломы.)

— Что дают студийцам занятия сатирическим рисунком?

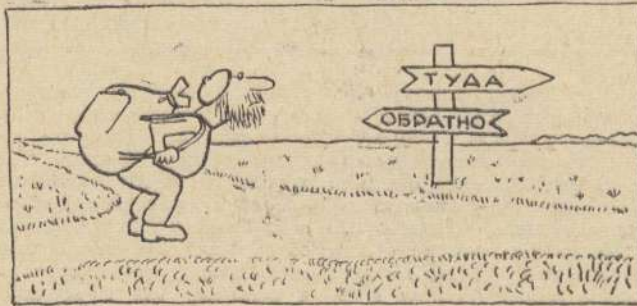
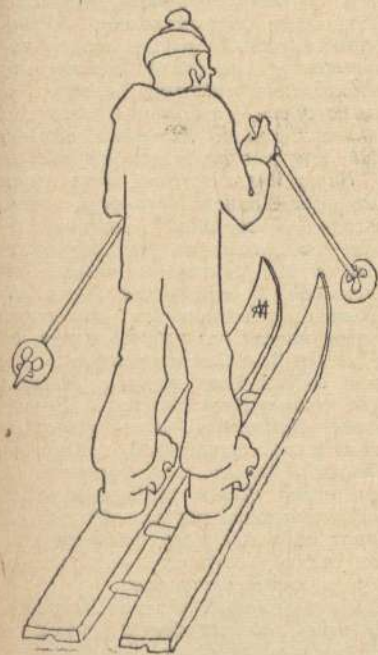
— Много. Развивается чувство юмора. И, конечно, творческие навыки. Недаром некоторые члены студии уже выходят на профессиональную арену — сотрудничают в «Боевом карандаше» и ленинградских газетах.

— А сегодня в «СЛОНе»?

— А сегодня в «СЛОНе».



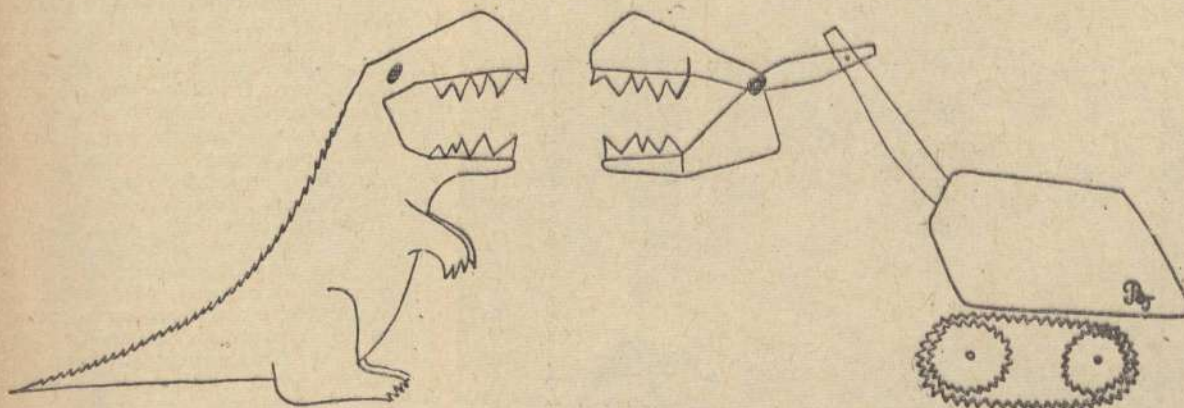
Сергей Михайленко



Борис Хотин



Борис Цыганков



Вадим Гарбер

Чистяковские пенаты



Дом № 23 по Московскому шоссе в городе Пушкин

Широко известны репинские «Пенаты». Старинное слово «пенаты», означающее — отчий дом, стало здесь как бы символом сосредоточения культурно-художественной жизни. Сотни людей посещают мемориальный музей «Пенаты» в Репине. Но не менее известен был некогда и дом, ныне под номером 23, по Московскому шоссе в городе Пушкин, в котором жил «учитель учителей» Павел Петрович Чистяков.

Чистяков воспитал плеяду русских художников — Борисова-Мусатова, Бруни, Врубеля, Грабаря, Куинджи, братьев Васнецовых, Лансере, Матэ, Остроухова, Поленова, Репина, Серова, Сурикова и многих других. Илья Ефимович Репин, давая Серову рекомендательное письмо к Чистякову, советовал ему «слепо слушаться» этого удивительного педагога и несколько раз повторил: «Это наш общий и един-

ственный учитель». Чистяков создал свою художественную школу, свой особенный метод, борясь с рутинной системой преподавания в Академии художеств. Введя новый метод преподавания живописи, заключавшийся в требовании «колорита, соединенного с рисунком», он никогда не «довлеял» над учениками и подходил к каждому «не с одинаковой для всех программой», а применяясь к его индивидуальным способностям. Поэтому все его ученики в своем творчестве так не похожи ни друг на друга, ни на своего учителя. Впоследствии Серов писал Чистякову: «Помню Вас как учителя и считаю Вас единственным (в России) известным учителем...» Один из чистяковцев, художник Федоров-Курганов, говорил, что «почти вся реальная школа — Русский музей и необычайно популярная Третьяковская галерея — ученики Чистякова».

Павел Петрович Чистяков в кругу родных. 1910 годы



Павел Петрович был человеком разносторонним: помимо живописи, интересовался музыкой, пением, литературой, философией, историей религии, наукой, спортом. Применяя выводы точных наук в живописи, Чистяков нашел новые закономерности воздушной перспективы. Его ученик Трачевский написал небольшую книжку о перспективе, на первой странице которой была сделана ссылка на то, что в основе этого исследования лежит закон о перспективе, впервые найденный Павлом Петровичем.

При жизни Павла Петровича (он умер 11 декабря 1919 года) его дом более сорока лет был местом паломничества многих известных художников, музыкантов, писателей, ученых. В доме радушно принимали всех, даже малознакомых. «У нас чисто бывали хорошие пианисты и музыканты... не считая целой массы любителей-музыкантов, певцов, декламаторов», — вспоминал сын Чистякова Всеволод Павлович, обладавший, как и отец, красивым голосом.

Внутренняя отделка дома (липовые резные панели в столовой, роспись потолка в гостиной), сама мастерская создавались по рисункам Чистякова и его ученицы и жены Веры Егоровны. В мастерской Павла Петровича, находившейся на втором этаже, висели его работы, в том числе самая большая неоконченная картина «Последние минуты Мессалины», хранящаяся теперь в Русском музее. Художник часто и подолгу стоял у окна мастерской, глядя в сад, где росли березы, клены, каштан. Летом перед домом разбивали необычайно красивый цветник. От дома до ворот сада тянулась большая липовая аллея, сохранившаяся до сих пор, и кусты шиповника.

День именин Павла Петровича, 12 июля, обычно бывал самым радостным и веселым днем в доме. В этот день дом украшали гирляндами цветов, устраивали маскарад, пели, танцевали и в доме и в саду. Всегда наезжало много гостей из Петербурга. После смерти Чистякова традиция отмечать этот день, но уже как день памяти Павла Петровича, сохранялась до начала Великой Отечественной войны.

...Красивый дом в глубине тенистого заросшего сада. Сколько видели его старые стены, сколько замечательных людей, являвших собой цвет русской и советской культуры, стекалось сюда, в эти своеобразные пенаты! Сколько голосов отзывалось здесь!

Павел Петрович любил этот, тогда такой тихий, небольшой городок, любил свой сад, свой дом, свою светлую мастерскую.

Светлана Балашова

Из работ
Павла Петровича
Чистякова



Портрет девочки — римлянки. 1863 г.

Портрет Джiovаннины в профиль. 1869 г.

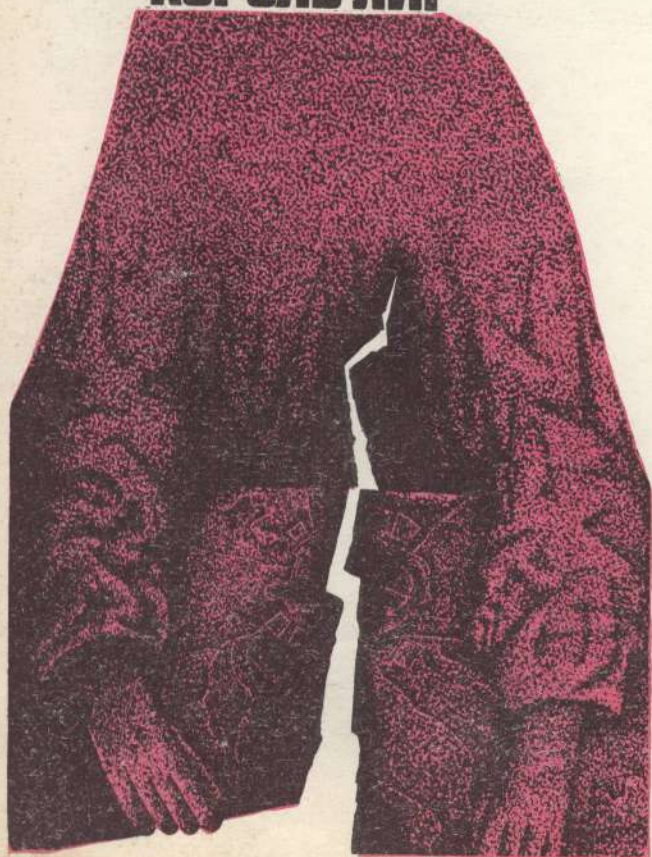


аврора

На первой странице
обложки — рисунок
Светозара Острова

Плакатист Борис Соколов закончил Ленинградское художественное училище имени В. Л. Серова. Он — участник многочисленных выставок плаката в нашей стране и за рубежом. Работает Борис в Комбинате графического искусства.

КОРОЛЬ ЛИР ВИЛЬЯМ ШЕКСПИР



Главный редактор
Владимир Торопыгин

Редакционная коллегия

Владимир Алексеев,
Ольга Берггольц,
Владимир Ветрогонский,
Глеб Горышин,
Владимир Дмитриевский,
Михаил Дудин,
Владимир Житенев,
Петр Капица,
Вера Кетлинская,
Виктор Максимов,
Борис Никольский,
Андрей Островский
(зам. главного редактора),
Анатолий Роцин,
Юрий Рытхэу,
Алексей Самойлов,
Михаил Хомутов,
Александр Шарымов
(ответственный секретарь),
Владислав Шошин

Художественный
редактор
Геннадий Никеев

Технический
редактор
Зара Оганова

Корректор
Фрида Лебедева

Цена 30 коп.
Индекс 70033